



особо опасен
для рейха

Берлинское кольцо

Э. Арбенов
Л. Николаев



Особо опасен для рейха

Эдуард Арбенов

Берлинское кольцо

«ВЕЧЕ»

1965

Арбенов Э.

Берлинское кольцо / Э. Арбенов — «ВЕЧЕ», 1965 — (Особо опасен для рейха)

«Берлинское кольцо» является продолжением рассказа о советском разведчике Саиде Исламбеке, начатом в романе «Феникс». Саид Исламбек – Двадцать шестой – добывает секретный план шпионажа и диверсий, разработанный Туркестанским национальным комитетом, и переправляет его в центр. Но для успеха операции требуется убедить гитлеровцев, что документ еще не побывал в руках разведчиков. И тогда Исламбек раскрывает себя перед агентами гестапо...

© Арбенов Э., 1965

© ВЕЧЕ, 1965

Содержание

Часть I. Замок Фриденталь	6
1	6
2	10
3	14
4	15
5	19
6	32
7	42
8	49
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Эдуард Арбенов, Леонид Николаев

Берлинское кольцо

©Арбенов Э., Николаев Л., 1965

©ООО «Издательский дом «Вече», 2008

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Часть I. Замок Фриденталь

1

Едва машина остановилась, вернее, затормозила, чтобы тихо замереть у обочины шоссе, как он распахнул дверцу и выскочил наружу, на траву, поблекшую по осени, на щебень, и почти побежал.

Вокруг не было ничего способного встревожить или поманить так торопливо человека. Пустырь. Безмолвные груды камня. Железо, скрюченное, обожженное, вздыбленное, вогнанное в землю. Не сегодня и не вчера обожженное – давно, давно, и потому не вызывающее испуга или удивления, а лишь любопытство: что это? Что было когда-то здесь?

А он знал, что было здесь, и знал, почему подверглось огню. И все же бежал, оставив нас, своих спутников, в машине.

Сухой, высокий, чуть сутулый от старости или от неловкого желания быть немножко ближе к людям, сравняться с ними, он, бегущий, казался стройным и молодым. Полуседа шевелюра романтически разлохматилась на ветру, а легкое голубоватое пальто окрылилось лапами. И Оскар Грюнбах летел на этих крыльях, не опираясь, как обычно, на трость, с которой не расставался, летел, перемахивая через камни и прутья арматуры.

Мы покинули машину и пошли следом. Не потому, что боялись потерять на этом кладбище камней и железа своего спутника, – нам, как и Грюнбаху, предстояла встреча с прошлым, и мы шли, желая приблизить эту минуту.

Ораниенбург! Бывший Ораниенбург. Странное чувство охватывает человека, когда он попадает в мир разрушения. Не сожаление, не грусть и не осуждение, и даже не удовлетворение от сознания того, что осуществлено справедливое возмездие: разметено в пепел змеиное гнездо. Но это мысль. А в чувствах – близкое, почти касающееся человека ощущение смерти. От живого лишь следы. Следы того же Оскара Грюнбаха. Здесь он поднимал эти камни, сваривал фермы, а они рухнули. Не без его участия. Было время, когда он хотел, чтобы все разнес шквал огня, превратил в пепел. И вот он бежит, торопится увидеть осуществленную мечту о пепле...

В созидании видна добросовестная рука Грюнбаха – камень спаян с железом навечно. А в разрушении его следов нет. Это работа английских бомбардировщиков. Запоздалая, но все же работа, и проделана она на совесть. Щебень. Кажется, это все, что осталось от тайны Ораниенбурга. Страшной тайны. Бомбы погребли ее... Или только спугнули!

Оскар Грюнбах пытается ее найти.

– Сюда! Сюда! – машет он рукой, напоминая нам о цели путешествия и о необходимости каких-то усилий. Одного созерцания недостаточно – прав старый Грюнбах.

Он уже что-то отыскал или просто почуял близость открытия. Трость его после несвойственных ей круговых движений в воздухе коснулась наконец земли, точнее, уперлась в бетонный слиток и замерла многозначительно.

– В земле... Все в земле, – проговорил Грюнбах, когда мы, балансируя, пробрались по связке металлических прутьев к зияющему в груди камня отверстию. – Наверху были только служебные помещения, – продолжал пояснять наш спутник. – Главное находилось в подвалах...

Он опускается вниз по пыльным ступенькам, тяжелым бетонным ступенькам, поросшим какими-то неприхотливыми былинками. Ветер принес их сюда и благословил на жизнь в этих каменных склепах, освещенных косыми лучами солнца. Погрузившись наполовину в темноту, Грюнбах снова позвал нас:

– Я покажу вам, где делались фальшивые фунты стерлингов, едва не покачнувшие национальный банк Великобритании. Идемте, у меня есть фонарик.

Слепой огонек, рядом с солнцем напоминающий скромного светляка, возникает в руках Грюнбаха и выхватывает на стене какую-то линию светло-красного цвета. Она настораживает: может быть, кровь. Тут должна быть кровь, всякая фашистская тайна связана с кровью. Но пятно оказалось всего-навсего восклицательным знаком после слова «Ферботен!», очень популярного в свое время в Германии слова «Запрещено!». При входе в подземелье, куда мы намеревались спуститься вслед за Грюнбахом, оно соединялось с другим, в данном случае совсем безобидным словом, и означало: «Не курить!»

Почему не курить в окружении камня и железа? Ах, да, – здесь печатались фунты стерлингов. Оскар Грюнбах хочет показать нам примечательное в своем роде место.

Последняя ступень в полумраке, а дальше, вопреки логике, – свет. Яркий пучок света, настоящего солнечного, льющегося с неба. Тяжелая фугаска разворотила перекрытие и обнажила подземный лабиринт. Грюнбах гасит свой фонарик и смущенно произносит:

– Я думал, здесь вечная тьма...

Так полагал и бригаденфюрер Шелленберг, загоня всю спецзону Ораниенбурга в преисподнюю, подальше от пытливого человеческого глаза. Какие-то годы тайна жила под слоем земли и бетона, и потребовался май 1945-го, чтобы сорвать тяжелую завесу. Впрочем, не вся завеса сорвана, многое скрыло время, и эта бомбежка в последние недели войны, превратившая святое святых гитлеровской службы безопасности в пепел, а пепел, как известно, безмолвен.

Хотя Оскар Грюнбах намерен оживить пепел, во всяком случае, заставить его говорить. Он ведет нас по подземелью, теперь уже открытому для неба и света, и показывает на железо и камни. Опять на железо и камни, которых так много наверху, и чтобы на них взглянуть еще раз, не обязательно спускаться вниз, в преисподнюю.

Какие-то смутные очертания печатного цеха, что-то напоминающее машины для оттисков. Только напоминающее. Это могли быть и другие машины – все настолько исковеркано, что назначение отдельных деталей можно установить лишь после технической экспертизы. Но Грюнбах говорит о печатных станках, пусть будет по-его. Он здесь находился, когда машины функционировали.

– Нет, нет, – поясняет Грюнбах. – Я не входил в этот подвал тогда. Никто из нас не входил. Вы читали на стене: «Раухен ферботен»? Запрещалось не только курить, но и приближаться к тамбуру... Однако мы знали многое... – Оскар Грюнбах поднимает свои не в меру разросшиеся седые брови и дает понять этим, что тайну от живых не скроешь, даже в Ораниенбурге. – Мы знали почти все... Машины гудели день и ночь...

Он сам с интересом рассматривает остатки трансмиссий, маховики, решетки. Мысль его работает, восстанавливает прошлое, а может, творит, пытается представить себе невиденное. Иными казались подземные тайники, когда их угадывали лишь по звуку работающих машин, по надписям при входе «Ферботен!». И Грюнбах несколько разочарован. Во всяком случае, загадочности на его лице нет и глаза смотрят равнодушно. Серые, выцветшие временем и страданиями глаза. Надо было все пройти не как сейчас, с тростью в руке. Не под спокойным голубым небом – сегодня удивительное для берлинской осени небо, – а под грозовым военным.

Мы поднимаемся по ступенькам вверх, на землю. Грюнбах виновато улыбается: ничего особенного не удалось показать нам, ничего, способного удивить и тем более поразить. Но было, было, так надо понять нашего спутника. Он делает серьезное лицо – мы все-таки на пепелище Ораниенбурга, секретнейшей базы Главного управления имперской безопасности. И пусть ничего не понятно по осколкам и развалинам. Это не миф. Здесь существовал Ораниенбург, не случайно стерли его с лица земли.

– Я увлекся, – говорит Грюнбах и взглядом просит прощения. Он имеет право на него. Человек с номером на руке, номером узника спецлагеря, может, даже должен, наверное, забывать окружающее, рассказывая о прошлом. – Вас не интересуют камни, вас интересует он...

Грюнбах способен в разговоре исключать себя, свои чувства, хотя мы этого и не требуем от него. Мы будем слушать подробнейшие рассказы об Ораниенбурге, будем смотреть камни, будем лазать по подземельям. Будем делать все, что считает нужным этот словоохотливый старик, но если невольно мы чем-то проявляем торопливость, подчеркиваем свою цель, то пусть он извинит нас. Действительно, мы думаем о нем, о том человеке, что ходил здесь когда-то.

Старик снова впереди. Пальто его, правда, уже не развеивается по ветру – спокойно идет Грюнбах, и трость его твердо упирается в камни и жухлую по осени траву. Иногда он задерживается на скоплении железного лома, в аморфном видит какие-то ему одному понятные четкие линии и говорит:

– Здесь была литография... А здесь – граверная...

Около граверной он останавливается надолго, на минуту или две, размышляет. Выдает нам частицу своих мыслей:

– А знаете, ведь я – гравер, настоящий гравер... Если хотите, первоклассный. И я работал здесь... Работал на Гиммлера.

Плечи его чуть опадают: и без того сутулый, он в эту минуту кажется сгорбленным. Облик выдает состояние старика, словно Грюнбах иллюстрирует свои чувства позой и жестом. Что-то театральное есть в его внешности, но старик не играет, он просто не умеет скрывать родившееся внутри...

– У человека не всегда хватает мужества умереть по собственной воле, – говорит он грустно, с какой-то далекой болью в голосе. Должно быть, эта боль не сейчас пришла к Грюнбаху, а еще в дни заточения в Заксенхаузене. – Если бы все отказались служить коричневому богу, он был бы слабее и не совершил столько зла...

– Умереть не значит победить, – возразил один из нас. – Гибель даже сотен тысяч была бы мало ощутима чудовищем в нацистском обличье.

– Да, конечно, – охотно согласился Грюнбах. – Это подсознательно понимал каждый из нас... И жил. И даже работал.

– И боролся.

– Кто мог... – после паузы и какого-то внутреннего анализа чужого довода произнес Грюнбах. Он-то лучше нас знал, кто боролся в лагере: член подпольной группы Сопротивления видел борьбу собственными глазами и сам в ней участвовал. – Кто находил в себе силы и решимость, – уточнил он, снова подумав. – Ваш друг боролся. У него были силы...

Он назвал его нашим другом. Просто так, видимо, назвал, оценивая наш поиск как долг дружбы. Грюнбах даже не предполагал, что мы узнали о существовании «друга» лишь после войны, спустя два десятилетия, и никогда, никогда не видели его в лицо. Живого, во всяком случае. Но пусть это друг, товарищ. Случайно брошенное слово заставило как-то по-новому взглянуть на нашу цель и даже испытать мгновенную радость. Друг – хорошо сказано!

– Хотя дни его были сочтены, – неторопливо шагая меж камней, продолжал Грюнбах, – он не складывал оружия... Я имею в виду душевное состояние человека...

Грюнбах умел говорить обобщая, отвлекаясь, сравнивая. Такая уж у него была манера выражать мысль. И мы побоялись, что он сейчас отойдет от сказанного и станет философствовать по поводу недолговечности всего существующего. Но на сей раз Грюнбах не попытался подняться в облака, – остался на грешной земле и стал неторопливо припоминать подробности.

– Я увидел его первый раз у этого барака... То есть у барака, который стоял здесь... Видите блоки? Прессованный щебень. Из Заксенхаузена людей водили сюда на работу. Даже приговоренных к смерти...

Грюнбах говорил об этом со спокойной деловитостью. Время не в состоянии оживить чувства – лагерь все подавил, все стер, даже протест против самого понятия «смерть». Умирали каждый день, уход из жизни был явлением обычным для всех, кто здесь находился. И для Грюнбаха тоже.

– Как я узнал, что он приговорен к смерти, – предполагая наш вопрос, стал объяснять Грюнбах. – Мне показал на него Юзеф Скачинский, член подпольной группы. Показал и шепнул: «Он будет умерщвлен...» – Трость уперлась в землю. Грюнбах положил обе руки на резной набалдашник, что означало остановку в пути и пространный разговор. Оскар Грюнбах внимательно посмотрел на нас, желая, видимо, уяснить, поняли ли мы его последнюю фразу. Не убедился в этом и повторил: – Умерщвлен! Вы различаете понятия: казнен и умерщвлен? У нас в Заксенхаузене не расстреливали. Убивали просто, если замечали в глазах заключенного недовольство. Умерщвление же производилось по списку, независимо от настроения человека. В список входили и приговоренные к смерти судом. Вы подумали о газовых камерах! Нет, человек тут был материалом для эксперимента, как и все, что входило в Ораниенбург. Ну, об этом потом. Ваш друг еще не знал, что его ожидает. Не знал даже о вынесении смертного приговора военно-полевым судом. Ходил на работу вместе со всеми. И вот его поручила мне наша подпольная группа. Откуда поступили сведения о судьбе новичка, для меня было тайной, а тайны мы не пытались разгадывать: в лагере второй обладатель секрета исключался... Еще мне сказали, что он должен жить, несмотря ни на что. Почему жить, во имя какой задачи, тоже умолчали. До поры до времени, конечно, потом стало известно. Перед самым концом, когда друга вашего повели к доктору Баумкеттеру, вы слышали что-нибудь о Баумкеттере? Это тоже одна из тайн Ораниенбурга, вернее, группы «Технических вспомогательных средств», которая занималась не только фальшивыми деньгами и подложными документами...

Мы прервали Грюнбаха:

– Когда повели новичка к Баумкеттеру?

Для нас это было важно, очень важно, иначе мы бы не посмели остановить нашего спутника. Грюнбах не любил пауз по чужой прихоти. На этот раз он не поднял недовольно брови и не бросил недовольный взгляд в нашу сторону, а лишь поморщился досадливо:

– В ноябре 1943 года. Возможно, даже в первых числах декабря... Почему так точно? Было очень холодно, а холод для заключенных – одна из страшных бед, какие только существуют на земле. Надо идти почти босому на работу, а у меня еще и ревматизм, представляете себе мои муки! Впрочем, не в них дело. Снег и ветер, снег на земле, и она мокрая, боже, до чего это ужасно. Я пошел, но не на работу, а в шестой блок, к Юзефу, чтобы заявить о своей полной беспомощности. Я не смог предотвратить опасность, нависшую над новичком. Его на проверку назначили в медицинский барак... Будто бы для работы у доктора Баумкеттера... Вы удивленно слушаете меня, я теперь понял, что вам ничего не известно о Гейнце Баумкеттере. Ничего абсолютно...

Мы действительно удивленно слушали Грюнбаха, но не потому, что были далеки от истинного понимания целей вызова. Нас занимал совсем другой вопрос: не ошибся ли старик, назвав дату. В конце ноября и тем более в декабре наш друг не мог находиться в Ораниенбурге. Физически не мог.

Мы должны возразить Грюнбаху. Хочется сделать это сейчас, тут, на пепелище Ораниенбурга, нарушая установленное нашим спутником правило – не прерывать рассказа. Прервем, выдержав укоризненный взгляд старика, примем его мысленное и, возможно, нелестное замечание в наш адрес. Тем более, что он сам уже о чем-то догадался, поставил палку, оперся о нее руками, сухими, жилистыми, обесцвеченными бескровием, и стал смотреть. Не на нас. На камни. Все те же камни Ораниенбурга...

2

– Я покинул Ораниенбург осенью сорок третьего года...

Когда впервые мы услышали эту фразу, она не заставила нас насторожиться или хотя бы задуматься. Человек рассказал о себе, и ему незачем было подтасовывать факты, к тому же они соответствовали протоколу следствия. Почти слово в слово повторял он свои показания – все было взвешено, обдуманно и выверено. Как выученный урок звучали слова. Собственно, иначе и нельзя если хочешь на суде добиться снисхождения, говори начистоту, помни, что существуют свидетели, существуют люди, документы, фотографии.

Ему нельзя было не верить, хотя он был шпион, диверсант, изменник. В прошлом, конечно. Немцы сбросили его на нашу землю в январе 1944 года. Между прочим, это тоже доказательство исчезновения человека из Ораниенбурга в самом конце сорок третьего года.

Он покинул секретную базу Главного управления имперской безопасности не один. Вместе с ним из Ораниенбурга выехал человек, следы которого мы сейчас ищем на пепелище Заксенхаузена с помощью Грюнбаха. Выехал живой, здоровый, и произошло это задолго до случая, рассказанного нам старым гравером. Нелепое смешение событий. Одно и то же лицо дважды оказывается в Ораниенбурге, месте, куда не входят по собственной воле и откуда нет дороги в обычный мир. Мы искали подробности одного события, а натолкнулись на целых два. Это было открытием, и довольно неожиданным. Но открытие произошло уже в Ораниенбурге во время встречи с Оскаром Грюнбахом. До этого мы жили рассказом, услышанным в небольшом южном городе, очень далеком от замка Фриденталь, настолько далеком, что никто здесь даже не знал о его существовании. Никто, кроме нашего собеседника.

Мы сидели в уютном номере скромной гостиницы, пили черный кофе и вспоминали прошлое. Вспоминали войну. Наш собеседник, уже немолодой человек, чуть подбровевший от сытости и покоя, сидел, откинувшись на плетеном кресле, и неторопливо восстанавливал прошлое.

Поначалу нас смущала его непринужденность, его спокойный тон, которым он излагал принципы и методы диверсионной работы, способы нанесения удара. Потом мы понемногу свыклись с этим спокойным тоном, приняли человека таким, каким он предстал перед нами. Профессия накладывает отпечаток на характер, взгляды, чувства человека. К тому же о профессиональных тонкостях обычно говорят деловито и спокойно, иногда даже с развязностью. Он принял для себя равнодушие.

Ремеслу шпиона он учился у нацистов. Учился старательно, преуспевал, получил даже награду за успехи. В советский тыл был заброшен с секретным заданием. Каким, умолчал, не считает возможным разглашать тайну; ему присуще чувство ответственности, о котором он несколько раз упомянул в беседе.

Кто видел живого шпиона? Кто беседовал с ним? Нас преследовало желание заглянуть ему в глаза, пытливо, с жестоким намерением увидеть врага. Мы это делали и ничего не узнали. Глаза у него были карие, живые, умные, с хитринкой во взгляде, – и никакой злобы, ненависти, жестокости. Это сбивает с толку обычно, нас оно разоружило эмоционально.

Надо заранее знать, кто перед тобой, прочесть его биографию, иначе никогда не догадаться о прежней профессии своего собеседника. А встретив его на улице, пройдешь мимо, как проходишь, не обращая внимания на самых заурядных людей, скромных по виду, вежливых и молчаливо предупредительных.

Шпионы неприметны. Это их особенность, которую видят лишь те, кто отбирает человеческий материал для определенной цели. Дефекты внешности, отличающие человека от остальной массы, являются препятствием. Шрамы на лице нужны только для исполнителей определенной роли. У нашего собеседника не было ни шрамов, ни заячьей губы, ни косоглазия,

ни родимых пятен. Он был даже симпатичен и интересен как мужчина. Что примечалось в его облике – усталость, запечатленная во взгляде, в изгибе бровей, в складках губ. Усталость, граничащая с разочарованностью. Последнее можно было объяснить пережитым – он был наказан как диверсант и отсидел назначенный ему срок, довольно большой и суровый. Так поступают с изменниками и лазутчиками. Его могли расстрелять, и это было бы справедливо для военного времени, но люди даровали ему жизнь. Неудачи и тем более расплата разочаровывают, поселяют в душу досаду на себя, на других, на все существующее. И вот он, еще здоровый и даже молодой, принимает облик страдальца. У него есть семья, дети, друзья. Никто из них не знает истины и даже считает его жертвой судьбы или чьей-то несправедливости. Он молчит многозначительно. Иногда вздыхает, иногда грустно улыбается. Порой предается воспоминаниям, но без раскаяния и слез, без осуждения собственных поступков. Просто вспоминает для того, чтобы мысленно пережить еще раз что-то, особенно запечатлевшееся в сознании. Наша встреча дала ему возможность пережить многое, почти все. И он пользовался этой возможностью без ограничения, уходил далеко вглубь, но по той тропе, которая была ему удобна и приятна. Когда мы неожиданным вопросом сталкивали его с проторенной дорожки, он нервничал. Первый вопрос, вызвавший недовольство, прозвучал в середине беседы:

– Вы случайно не помните доктора Баумкеттера?

Он помнил. Фиксирующие центры действовали у него безотказно. Сказывалась профессиональная способность держать все в голове, не полагаясь на записи. Запись – это улика, это верный способ провалить дело. Однако, помня все, он выдал нам лишь частности, очень безликие, те, что не затрагивают человеческих чувств.

– Гейнц Баумкеттер дважды беседовал с нами о применении специальных патронов и даже демонстрировал их эффект.

– На людях?

– Нет... На собаке... – ответ был неточным. Наш собеседник не хотел сходить с тропы, чутьем угадал опасность и попытался удержаться на уже зафиксированной в протоколе следствия версии. Баумкеттер никогда не испытывал свое изобретение на животных, ему выделялись для опытов люди в любом количестве. Да и эффект на животном совсем иной, по нему нельзя ориентироваться.

– А на людях? – снова прозвучал наш вопрос. – На людях тоже демонстрировались специальные патроны?

Ответ последовал не сразу, после небольшой, но болезненной для нашего собеседника паузы.

– Конечно...

– Вам не довелось присутствовать?

Пауза оказалась еще продолжительней. Впервые за весь вечер он смутился. Взял со стола пачку «Фильтра», стал копаться в ней, выбирая сигарету. Потом принялся мять ее, внимательно разглядывая, и лишь после всех этих процедур поднес ко рту. Здесь вспомнил о нас, спросил:

– Я закурю?

К нам невольно пришла мысль о рефлексе: так поступают арестованные на следствии, и именно перед признанием. Подталкивать и напоминать уже не следует. Идет внутренняя работа, самостоятельная, и она даст нужные результаты. Поэтому мы молча ждали.

– Был однажды случай, – выдавил из себя наш собеседник. – Баумкеттер показал, как действует патрон.

– Вам одному?

– Нет. Присутствовал еще унтерштурмфюрер Брехт, инструктор из «Вальдлагеря-20». Стрелял Баумкеттер... Потом Брехт...

– В кого?

Наш собеседник затянулся, выигрывая время. Оно увеличилось оттого, что он пододвинул к себе пепельницу и стряхнул серую шапку с сигареты. Поднял глаза, виноватые отчего-то, словно взглядом просил понять причины еще неизвестного нам события.

– В туркестанца...

Присутствовать при убийстве соотечественника даже в качестве простого наблюдателя – небезобидное занятие. Он сознавал это. Мы понимали большее: Баумкеттер разрешил быть рядом постороннему только потому, что преподавал в тот день, преподавал убийство как предмет. Демонстрировал, учил, следовательно, разделял, свой поступок между многими.

– Вы знали этого туркестанца?

Наш собеседник вдруг взорвался. Не выдержали нервы. Сигарета сломилась между пальцами и, рассыпая веером золотистые крошки, полетела на ковер.

– Допрос?! Опять допрос... Меня уже обо всем спрашивали... Я устал, понимаете, устал давать показания...

Да, чертовски трудно потрошить собственную жизнь, такую, как у нашего собеседника. Есть вещи, которые нельзя признавать, и не только нельзя – небезопасно. Порой даже страшно.

Он пьет коньяк. Залпом. Не морщится, не облизывает губы, словно глотнул чистую воду. Мы наливаем еще. И снова мгновенное опустошение. Только дрожат мелко губы, теперь мы замечаем это. Неужели все-таки потревожена совесть? Значит, она есть у бывшего диверсанта! Или это только страх?

Он ставит рюмку на стол, твердо, со стуком. Говорит уже спокойно:

– Не знал.

– Может быть, его звали Исламбеком? Припомните! И успокойтесь. Все, что касается вас и вашего прошлого, лежит в стороне от наших интересов. Мы ищем Саида Исламбека, его следы. Только его. В протоколе следствия упоминается это имя.

Нервная усмешка скользнула по губам собеседника: он иронически воспринял высказанный нами довод. Все интересуются его прошлым, в этом он убежден. Да и как может быть иначе: шпион! И он торопится отсечь чужое любопытство коротким ответом.

– Я знал Саида Исламбека.

Наивный человек, он не оборвал цепочку вопросов, – наоборот, породил новые.

– Значит, не в него стрелял Баумкеттер?

– Нет. Не мог стрелять, если бы даже хотел. В то время Исламбека не было еще в Ораниенбурге. Притом я хорошо помню убитого туркестанца... Обросшее худое лицо, над лбом прядь седых волос... Его раздели перед выстрелом, и мы увидели две раны – на бедре и около плеча... А Исламбек не имел ни одного шрама, я проходил с ним санобработку накануне отъезда... И возраст не тот. В нашей группе все были молодыми и здоровыми, нам предстояло прыгать с самолета в трудных условиях, врачи очень придирчиво осматривали каждого, и в том числе Исламбека...

– Вы часто виделись с ним?

– Последние две недели – ежедневно... На занятиях сидели рядом, в столовой тоже... Я наблюдал за ним, теперь об этом уже можно сказать. Мне он казался подозрительным. Знаете, какой-то необычный, не как все. И занимался плохо, ничего не запоминал, даже не слушал инструкторов. Сам первый ни с кем не заговаривал, на вопросы товарищей отвечал уклончиво, какая-то забота тяготила его. Мы все думали о своем будущем и, уединившись, делились сокровенными мыслями, страх был в душе каждого – нам предстояло выполнить опасную операцию в советском тылу, а это риск, полная отдача сил и знаний. Чем лучше подготовлен курсант, чем лучше натренирован, тем больше шансов остаться живым. Исламбек не беспокоился о благополучном исходе выброски, парашют его не интересовал вовсе. Помню, он даже не явился на занятия, которые проводились на полигоне. Я сказал об этом инструктору князю Галицыну – был у нас такой русский эмигрант, старик лет шестидесяти. Именно ему сказал,

с князем мне было легче объясняться, немецким языком я владел плохо. Галинын выслушал меня и попросил понаблюдать за Исламбеком. С того дня я стал тенью Исламбека, искал возможность остаться с ним наедине, поговорить откровенно. Компанию мою Исламбек принимал довольно охотно, но в разговоры не пускался и о себе ничего не рассказывал. Молчание его еще больше усилило подозрение и интерес. Однажды, примерно дня за три до отправки во Фриденталь, где размещалась наша школа, приехал на «мерседесе» доктор Ольшер. Мы хорошо знали его по Главному управлению СС, куда нас направляли перед зачислением на курсы особого назначения – Ораниенбург. Ольшер беседовал с будущими курсантами, проверял нас и распределял по спецлагерям. Он являлся начальником «Тюркостштелле», и все пленные туркестанцы были в его ведении. В Ораниенбурге я увидел его впервые, хотя находился здесь почти со дня основания разведшколы. Мы подумали, что приезд гауптштурмфюрера связан с нашей отправкой, и ждали встречи с ним. Но Ольшер даже не заглянул в наши комнаты, не поинтересовался занятиями по спецделу, которое всегда привлекало руководителей управления СС, – им хотелось знать, насколько мы подготовлены к выполнению задания. Он вызвал в кабинет одного Исламбека, переговорил с ним наедине и сразу же уехал в Берлин.

Я подумал: мой сигнал дошел до «Тюркостштелле» и капитан Ольшер решил проверить Саида Исламбека. Так и сказал князю вечером. Но Галицын не разделил моего предположения, странно как-то посмотрел на меня и сказал:

– Не надо заниматься этим парнем... У него свое задание.

Неудача несколько огорчила меня: попусту потратил время и вроде показал себя глупцом. Однако за Исламбеком продолжал присматривать. За день до выезда я удостоверился, что он действительно имеет особое задание. Мы все получили новое обмундирование советского образца – до этого носили форму чешской армии. Исламбек оделся в эсэсовский мундир со знаками отличия унтерштурмфюрера. Это совсем не вязалось с задачей, которая стояла перед группой, – мы должны были представлять собой отпускников Советской армии, демобилизованных по болезни, командированных для сопровождения призывников, а тут – офицер одного из батальонов особого назначения «Мертвая голова». И по документам, приготовленным для нас в спецотделе, он также назывался унтерштурмфюрером СС, инструктором радиодела. Меня это окончательно сбilo с толку – в качестве кого может появиться на советской территории человек в эсэсовской форме и с документами, подтверждающими его принадлежность к разведцентру? Я уж подумал, не собираются ли руководители нашей школы бросить Исламбека как перебежчика или нашего пленного. Дерзкий и оригинальный план, но справится ли с задачей Исламбек? Я не видел в нем данных для осуществления подобного замысла – вял, спокоен, замкнут. Хотя перебежчики бывают всякие, такие, наверное, тоже.

В общем, до самого последнего часа нашего пребывания в замке Фриденталь Саид Исламбек оставался для меня загадкой. Загадкой явилось и событие, произошедшее на Берлинер ринге в тот же день, когда мы покинули Ораниенбург...

3

Сохранились донесения нашего разведчика Рудольфа Берга, работавшего в берлинском гестапо и руководившего действиями Саида Исламбека, проходившего по шифрованным документам как «26-й». Датированная девятнадцатым февраля радиограмма извещает разведцентр, что «двадцать шестой» выбыл. Никаких подробностей Берг не передал. Но в Центре поняли радиограмму так, как задумал ее информатор: Исламбек задачу выполнил и физически участвовать в дальнейшей работе по осуществлению операции не может. Это произошло в начале 1943 года, вскоре после капитуляции армии Паулюса под Сталинградом, когда Гиммлер развернул подготовку к своей пресловутой тайной войне.

Подробности выхода «двадцать шестого» поступили из Берлина через неделю, то есть в конце февраля. Берг получил возможность рассказать о судьбе Исламбека. Вот эта радиограмма: «Жив. Состояние тяжелое. Допрашивает Ворон. Подступы к “двадцать шестому” затруднены. Побег исключается». В марте Берг повторяет последнюю фразу, видимо, Центр требовал каких-то попыток вызволить Исламбека. «Побег исключается. “Двадцать шестой” изолирован во внутренней тюрьме. Подступов нет».

Берг, работая в политической полиции, ничего не мог сделать для облегчения участи «двадцать шестого». Допрашивал Исламбека Ворон, иначе говоря, сам Курт Дитрих, а в правилах штурмбаннфюрера было вести дело самолично при закрытых дверях. Дитрих не доверял никому, так как боялся нарушения схемы, разработанной им при проведении операции. Он не выяснял истину, а подводил под намеченную версию данные следствия. Берг своими поисками мог сбить штурмбаннфюрера с выбранной им тропы.

В июле поступило подтверждение Берга: «Двадцать шестой там же. Подступов нет. Допросы идут с большими перерывами». Исламбек оставался во внутренней тюрьме гестапо и в июле, и в августе, и даже в октябре. Разведцентр периодически запрашивал информацию о судьбе «двадцать шестого». Полковника Белолипова интересовало, как ведет себя молодой разведчик на допросах, применяют ли к нему пытки. Он боялся за здоровье парня. И, возможно, опасался, как бы не дрогнул измученный допросами и одиночным заключением «двадцать шестой». Оступиться легко... Белолипов настаивал, требовал от Берга свидания с Саидом Исламбеком.

Наконец поступило долгожданное сообщение из Берлина: «Состоялась короткая беседа. Здоровье улучшилось. Настроение – тоже. Намеченная версия сохраняется. Ворон, кажется, принял ее».

Берг ничего не сообщал об Ораниенбурге, ни в одном донесении не упоминается секретная база Главного управления имперской безопасности, но он знал о ней. Потом это выяснилось. Вероятно, сведения о «Специальных курсах особого назначения» поступали по и другим каналам, от того же Берга. Он не только знал, но воспользовался тайной для облегчения участи Исламбека. Одно было непонятным: почему наш разведчик подтвердил нахождение «двадцать шестого» во внутренней тюрьме гестапо, в то время как диверсант, беседовавший с нами, видел Саида Исламбека в октябре в замке Фриденталь? Видел живым и здоровым, без следов ранения?

4

Замок Фриденталь стоял в стороне от суетливых дорог, бегущих от Берлина, и мог олицетворять собой цитадель умиротворения и покоя. Вблизи него находился город Ораниенбург, больше похожий на дачный поселок, раскинувшийся среди леса. Улицы его пролегали под сводами старых лип и буков, а дома тонули в тени зарослей дикого плюща. Лес постепенно переходил в парк, окружавший замок, тропки в аллеи, ручьи в пруды, тихие, дремотные. Тяжелый, кажущийся литым замок скромно именовался охотничьим домиком. Издали стены его едва различались за кущами вековых буков и казались деталью старинной гравюры. Когда-то живописные группы всадников, отправляясь в увеселительную прогулку, старались свернуть с дороги, и если не проехать парком и отдать дань гостеприимства обитателям замка, то хотя бы приблизиться к Фриденталю и полюбоваться его тихими аллеями.

Таким Фриденталь остался и в войну. Рядом дороги шумели танковыми гусеницами и бронетранспортерами, тянулись по трассам мотоциклы, тявкили зенитки, пытались ужалить в небе, облачном сером небе, самолеты, идущие через Рюген на бомбежку Берлина, а замок пребывал по-прежнему в покое, сохраняя вековую тишину своих аллей и прудов. Он стал, кажется, еще тише и безлюдней. По вечерам не вспыхивали манящие огни в его окнах, не раздавался призывный рожок егеря, сзывающего охотников в залы после удачного гона оленей в соседнем лесу. Впрочем, если бы даже запел рожок, никто не приблизился бы к замку: на дороге, что сворачивала к Фриденталю, стояли столбы со знаками, запрещающими проезд. Щитки над знаками дополняли это запрещение коротким словом: «Хальт! – Стой!» Ниже говорилось: «Спецзона. Приближение более, чем на десять метров, опасно – огонь без предупреждения!» Ясно, что смельчаков и любопытных, желающих заглянуть в парк, оказывалось немного. Патрули, обходившие зону, действительно стреляли без предупреждения и не холостыми патронами.

Вначале дорожных знаков со словами «хальт!» и «ферботен!» было вполне достаточно для сохранения покоя в замке, но война разгоралась, и те, кому доверили охрану Фриденталья, решили, что слово не такая уж большая гарантия в бурное время, и обнесли парк стенами, увенчанными линией высокого напряжения. За стенами появилась мертвая зона, простреливаемая по интервалам автоматами и пулеметами с наблюдательных пунктов. Снаружи сохранялась все та же предупредительная полоса, украшенная на поворотах щитками с изображением человеческого черепа. Запретную зону пересекали лишь машины с опознавательными знаками службы безопасности и снабженные пропуском с подписью самого бригаденфюрера. Исключение составляли автомобили, обслуживавшие Фриденталь и появлявшиеся, как правило, у контрольных пунктов ночью. Машины доставляли груз во внутренние помещения замка, а это были подвалы, цементированные, изолированные от внешнего мира решетками на окнах и железными дверями. Те же машины вывозили груз с территории парка, причем сопровождал их всегда усиленный наряд охраны.

Иногда грузом являлись люди. Их сажали в крытые машины, везли вокруг парка и после замысловатой петли, перерезав несколько раз контрольную полосу, доставляли в назначенный пункт. Обратные люди, командированные в замок в качестве рабочих или специалистов, не возвращались. Для наружных работ – строительства барачных, подсобных помещений, рытья котлованов – пригоняли заключенных из концлагеря Заксенхаузен, расположенного в десяти минутах ходьбы от Фриденталья. Переводить людей из Заксенхаузена в другие лагеря запрещалось: тот, кто видел Фриденталь и находился хоть день в спецзоне, не должен был унести с собой тайну.

Такое исключительное внимание к замку стало проявляться с 1943 года, когда Фриденталь посетил гауптштурмфюрер СС Отто Скорцени. Любимец Гитлера, друг и особо доверенное лицо начальника полиции безопасности и службы безопасности Кальтенбруннера, он

по поручению шестого отдела СД выбирал место для своей школы особого назначения. Вернувшись в Берлин, на Принц-Альбрехтштрассе, Скорцени доложил Шелленбергу, что замок вполне соответствует той задаче, которая возлагается на школу. В тот же день Шелленберг подписал приказ о размещении «Специальных курсов особого назначения – Ораниенбург» во Фридентале. Работы по размещению личного состава и подготовке территории начались одновременно. Пока курсанты и инструкторы устраивались в комнатах и залах Фридентала, заключенные Заксенхаузена возводили трехметровую стену вокруг парка. Приехали эсэсовские надсмотрщики с целой стаей волкодавов, приученных набрасываться на людей. Скорцени дал Шелленбергу слово, что первый выпуск курсантов состоится через шесть месяцев. После Сталинграда такие сроки бригаденфюреру показались слишком щедрыми – он сократил их до четырех месяцев. Осенью 1943 года, в темную дождливую ночь, первая группа выпускников школы Скорцени в крытом грузовике покинула Фриденталь и направилась по кольцевой трассе Берлина к военному аэродрому.

Кольцевая дорога, как известно, вбирает в себя сотни асфальтовых линий, идущих от центра, и выпускает из себя такое же количество за пределы трассы. Все три полосы бетона, предназначенные для машин с различной скоростью движения, то заполняются транспортом, то у поворотов освобождаются от него, выбрасывая рокошующие коробки в темноту леса, бегущего зеленой полосой вдоль кольца.

Вначале крытая машина шла по внутренней линии на сравнительно небольшой скорости, затем водитель по молчаливому знаку сидевшего в кабине оберштурмфюрера перевел грузовик на среднюю полосу. Мотор заметно увеличил обороты, дождь напряженно застучал в смотровое стекло, шумно хлынули струи на брезентовое покрытие кузова. Примерно минут двадцать баллоны подкатывали под себя среднюю полосу, потом вырвались на внешнюю, и шофер дал полный газ. Он кинул машину навстречу ливню и потокам ветра, вдруг родившимся у обочины. Синие пятна дорожных сигналов, цепочкой нанизанных на невидимую в ночи нить, зарыбились в глазах. Спидометр показывал девяносто, иногда стрелка, дрожа от невероятных усилий, пересекала эту цифру и на какие-то секунды приближалась к ста...

– Я наблюдал за Саидом Исламбеком, – продолжал рассказывать наш собеседник. Спокойный, небрежный тон, которым он начал свое длинное повествование о замке Фриденталь, сменился взволнованностью, пока что едва заметной, но все же окрашивающей рассказ в какие-то тона. Вот сейчас он сделал паузу и бросил на нас любопытный взгляд: чувствуем ли мы всю важность и необычность происходящего на берлинской трассе? Пауза несколько насторожила нас, как все, что предшествует появлению нового и неожиданного в рассказе, но не в такой степени, чтобы замереть от любопытства. Это разочаровало собеседника, и он решил сгустить краски: отвел глаза к окну и задумчиво глянул в голубой простор южного неба. Там взгляд пребывал несколько секунд и вернулся к нам, наполненный таинственностью: – С самого Фридентала наблюдал. Мы сидели напротив и хорошо видели друг друга, насколько, конечно, позволяла темнота. Возможно, я не столько видел, сколько угадывал, но мне ясно представлялось лицо Исламбека, искаженное волнением. Он нервничал. Еще перед посадкой в его поведении появилось что-то новое, не знакомое мне. Молчаливый до этого, Исламбек вдруг стал разговорчивым. Он донимал меня вопросами: какой дорогой мы поедем, в какой машине, даже требовал, чтобы я показал ее. Ни на один вопрос ответить было нельзя – мы не знали маршрута, не видели машин, да и какое это имело значение: все грузовики, обслуживавшие Фриденталь, одинаковы. Одно лишь было известно – машины крытые, так я и сказал Саиду. Он огорчился:

– Значит, мы больше не увидим тех мест, где жили?

Печаль по поводу расставания с Германией меня рассмешила. И не только рассмешила, легко было догадаться, что Исламбек прикидывается, ничего ему не жаль и не о берлинских

дорогах и скверах он думает. Тут что-то другое. Но что? Когда мы стояли в парке, ожидая машину, я стал рассматривать офицерский китель Исламбека, сделал вид, будто меня интересует, как он сшит, и, поправляя воротник, незаметно прощупал подкладку вдоль шва. Нам всем заделывали ампулы с цианистым калием под воротник или за борт – у Исламбека ее не оказалось. Не было ампулы и в фуражке, которую я, шутя, примерил. Стало ясно, что Саида не снабдили обязательным для всех средством выхода из игры. Советских денег ему тоже не дали – одни марки.

Видимо, Исламбеку определена роль перебежчика, К такому выводу я пришел, хотя, честно говоря, не особенно верил собственной версии. Перебежчика должны выбросить где-то за линией фронта, следовательно, он обязан интересоваться предстоящим полетом. От точного наведения на цель зависит приземление в заданном районе. Например, нам предстояло выбраться в пустыне, причем не где-то, а в конкретном квадрате, вблизи железнодорожной линии и колодцев. Оказавшись в глубине песков, мы погибнем без воды. Кроме того, длительный переход изнурит нас, истреплет одежду, оттянет сроки нанесения удара, а от сроков зависит очень многое, если не все. Прежде всего, будут потеряны силы, а вместе с ними – смелость и уверенность. Ослабленная воля – это уже неудача. Поэтому мы беспокоились о точном наведении на цель, думали о погоде, о зенитном огне, который мог сбить самолет с курса. Один Исламбек интересовался грузовиком. И подобный интерес казался мне странным.

Наконец подали машину и мы стали рассаживаться. Никакого порядка не было, каждый спешил поскорее влезть в кузов, спрятаться от дождя, причем место выбирали себе около кабины – там суше и теплее. Я сел последним, когда пятерка моя уже расположилась, а Исламбек все стоял на дожде и не проявлял желания подняться. Только после окрика роттенфюрера он полез в кузов. Сел с краю против меня у открытой задней стороны. Руку положил на борт, хотя дерево было мокрое и струи дождя при поворотах осыпали шинель тучами брызг. Его это, кажется, не беспокоило, наоборот, с каким-то безразличием он терпел и холод и дождь. Так ведут себя потерявшие надежду, безропотно идущие навстречу собственной смерти...

Машина мчалась на предельной скорости, когда из кузова выпрыгнул человек. Перемахнул через борт и исчез в темноте. Один из курсантов заметил, что беглец уцепился за кромку, повис на руках, а потом уже прыгнул вниз, вернее, опустил ноги. Ни крика, ни удара, ни другого звука ехавшие в кузове не услышали. Роттенфюрер приказал сидевшим у кабины постучать в стекло водителю или оберштурмфюреру – остановить машину, но пока эту простую процедуру проделали, прошло минут пять. Грузовик отмахал километр, если не больше. Очередь из автомата, выпущенная в воздух роттенфюрером, прозвучала как подтверждение полной безнадёжности положения, в котором оказался сопровождающий. Впрочем, никто не возлагал на сопровождающего никакой ответственности за доставку живого груза – его посадили в машину просто для формальности. Он даже не знал точно, куда и зачем едут эти люди и сколько их. Во всяком случае, когда грузовик остановился и недовольный, именно недовольный, а отнюдь не встревоженный оберштурмфюрер протопал по дождю от кабины до кузова, никаких обвинений и тем более угроз в адрес роттенфюрера не последовало. Офицер выслушал все, что ему было доложено о происшествии, закурил не торопясь, посмотрел в темную даль шоссе. Только посмотрел, потому что разглядеть что-либо было нельзя – буквально третий метр уже тонул в густом мраке, исполосованном струями дождя. Шагнул для чего-то назад, в объятия ночи, покрутился невидимый у обочины, а может, и не покрутился, просто постоял, кутаясь в воротник плаща, вернулся с потушенной сигаретой, махнул рукой – поехали!

В кабине он спросил шофера:

- Через два километра поворот на Потсдам?
- Да, господин обер-лейтенант.
- Ты знал об этом?

– Конечно.

– Надо было притормозить хотя бы...

– Больше вы никогда не видели Исламбека?

Мы задали последний вопрос нашему собеседнику. Короткий южный вечер минул, и за открытым настежь окном легла ночь, тихая, обволакивающая все мягким бархатом истомы. Ни ветра, ни шелеста. Кофе и коньяк были давно выпиты, воцарилась та самая пустота и за столом и в чувствах, когда уже хозяева и гости становятся друг другу ненужными. Мы знали, что Исламбека наш собеседник больше не видел, и задали вопрос лишь для того, чтобы поставить логическую точку всей встрече и проститься с гостем. Он понял это и приуныл. С трудом, нехотя, даже с недовольством начав исповедь, он не хотел теперь закончить ее. В глазах, тех самых мягких, карих, с лукавинкой глазах, мелькнула досада. Он боялся конца встречи, боялся нашего холодного человеческого приговора. Где-то в тайниках чужой души вспыхнула обида за себя, за прошлое, которое со стороны можно осудить, а ему нужно было оправдание. Ему страшно хотелось видеть себя незапятнанным. И он смотрел на нас с тревогой и мольбой: говорите еще, спрашивайте, спрашивайте без конца! Отвечая, рассказывая, легче сносить жалость, расположение к себе.

Мы не спрашивали. Тогда он заговорил сам, горячо с болью в голосе:

– Вы ищете героя... Вы хотите сделать Исламбека необыкновенным человеком. Зачем? Он был обыкновенным, самым обыкновенным... Даже хуже нас... Я не верю в таких героев. И если меня заставят молиться на них, я прокляну все, прокляну Бога...

Он почти плакал. В его словах звучал не протест, а бессильная зависть к другому. Ему хотелось отстоять право на земное, низкое. Его мучил свет человеческого сердца.

– Вы смотрите на него издали, – стenal он, – очищаете от непонятного и необъяснимого, а мы были рядом с ним, видели его так, как я сейчас вас вижу... И это – не герои... Нет! Нет...

Было тяжело сознавать, что этот завершающий свой путь человек уже не в силах повторить пройденное, не в силах исправить совершенное – время устремлено вперед и только вперед. А там одно раскаяние и боль. Вечная боль.

– Значит, вы больше не видели Саида Исламбека?

– Нет.

Он простился и уехал.

5

Пора вернуться к руинам Фриденталья. Там ждет нас Оскар Грюнбах, одинокий, среди камней и воспоминаний. Опершись на свою резную трость, смотрит выцветшими глазами в прошлое. Ждет нас.

Но мы не можем, не имеем права вернуться сейчас к Грюнбаху. Между тем, что поведал нам гравер, и тем, что пришлось услышать в гостинице маленького южного города, немалое расстояние, и оно ничем не заполнено, вернее, заполнено пустотой. Пустотой и еще догадками, предположениями. А они далеки от жизни, как все, что порождено одной логикой. Нужны вехи, хотя бы одиночные, разбросанные на этом пространстве протяженностью в полгода.

Где находился и что делал Исламбек эти шесть месяцев? Как ему удалось выбраться из гестапо и оказаться в святой святых Гиммлера – Фридентале? Почему, прорвавшись в секретную базу Главного управления имперской безопасности, он вдруг бежал? Зачем? Что за беседа произошла между Исламбеком и начальником «Тюркостштелле» Рейнгольдом Ольшером?

Все, все неведомо и, главное, необъяснимо. Ничем не удастся связать совершенно противоречивые факты. Наш разведчик – опытейший из опытейших – Рудольф Берг не в состоянии помочь Исламбеку, он доносит в Центр, что подступов к арестованному нет и побег исключается, а в это время Исламбек освобождается без постороннего участия из внутренней тюрьмы гестапо.

Кому-то надо не верить: или бывшему диверсанту, выброшенному в январе сорок четвертого года в наш тыл или советскому разведчику Бергу. Мы склонны расценивать слова диверсанта как заблуждение. Иначе нарушается ясность и закономерность развития событий.

Так мы и поступаем. Многое становится на свое место, почти все. Вырисовывается довольно четкая схема. Вот она.

После выполнения задания в особняке президента Туркестанского национального комитета Вали Каюмхана Саид Исламбек был арестован и той же ночью препровожден в гестапо. Там он находился до октября или ноября 1943 года и затем был переведен в спецлагерь Заксенхаузен. Здесь, в лагере, его и встретил Грюнбах.

Четкая, во всяком случае, ясная, схема. Мы принимаем ее. И вдруг натываемся на газетку из Франкфурта-на-Майне. Эмигрантская газетка белогвардейского толка, окрашенная в поблекшие, но хорошо приметные краски гитлеровского рейха. Громкие, тенденциозные, написанные в развязном тоне статьи не представляли для нас никакого интереса, кроме одной. В ней рассказывалось об участии русской эмиграции в подрывной деятельности против Советов. Назывался, в частности, князь Галицын. Ему была посвящена большая часть статьи. Величайший специалист по России, как утверждал автор, князь многое сделал для воспитания смелых и непримиримых бойцов антикоммунистического фронта. Из его рук вышел не один десяток умелых исполнителей, нанесших чувствительный удар противнику. Имена большинства учеников Галицына мы не можем назвать пока, но тех, кто вышел геройски из борьбы, пусть знают все. Под термином «бойцы и исполнители» следует понимать обычные наименования шпионов и диверсантов. Первым называется какой-то Семен Кравец, погибший в западных районах Украины, вторым – Саид Исламбек. Кравцу посвящена треть статьи, Исламбеку – один абзац. Он будто бы был подготовлен князем для чрезвычайно оригинальной операции с чрезвычайно необычной легендой и действовал в Берлине. Выступая как агент «Секрет интеллидженс сервис», Исламбек сделал смелый ход, но в октябре 1943 года был случайно убит своими соплеменниками во время ссоры. «Верный долгу, – говорилось в статье, – он уже смертельно раненный полз по лесу, чтобы предупредить шефа и передать важное сообщение. Труп его нашли у обочины кольцевой трассы Берлина».

Статья в эмигрантской газетке подкрепляла сведения, полученные от нашего собеседника в гостинице, и рушила ясную и удобную для нас схему. И не только рушила, – отвергала полностью. Получалось так, что в октябре 1943 года Саида Исламбека уже не было в живых, а Оскар Грюнбах умудрился встретиться с ним в Заксенхаузене.

Никакие логические решения не могли снять это противоречие. Только поиски следов, только свидетельства очевидцев.

Но где они? Куда занесли их время и события? Хотелось надеяться на постоянство человеческих привязанностей. Как птица после перелетов, сердце возвращается к родному, близкому. Обычно так. Кто-то был рядом с Исламбеком, видел его, запомнил. Смутная надежда, наивная, может быть, но она повела нас все же на Берлинер ринг, к тому месту, где трасса ответвляет от себя дорогу на Потсдам.

Два километра до поворота. На правой стороне обочины крупная надпись, приковывающая внимание. Была ли она тогда, в сорок третьем? Возможно.

На бетонной полосе пустынно. Время дня такое, что машины появляются здесь редко. Впрочем, нет, сзади возникает характерный рокот мотора и стремительный, сливающийся в единый звук шепот шин. Врывается на полосу белая «Волга», обдаёт нас шквальной волной ветра и ароматом бензина и пролетает мимо. Кто-то глянул из окна любопытный, зафиксировал нашу машину, прижавшуюся к зеленой кромке газона, и унес с собой недоумение и, возможно, вопрос – почему мы стоим и почему смотрим в лес? Здесь не задерживаются просто так, должна быть причина.

Причина есть. Нам одним, конечно, ведомая. Мы ищем следы прошлого. Не на шоссе, естественно. Здесь, на месте прыжка Исламбека, нет никаких намеков на события, минувшие два десятилетия назад. В лесу – тоже. Хотя сюда, к Берлинскому кольцу, он полз, как вещает франкфуртская газета, чтобы выполнить свой долг. Полз и умер.

Шумят покойно деревья. Без ветра, кажется, или где-то над маковками летит он, трогает лениво блеклую по осени листву. Чистый немецкий лес со следами человеческих усилий и забот. Но все же лес, даже подернут мохом и озвучен редкими голосами птиц. Они умудряются выщелкивать и высвистывать даже рядом с бетонными полосами, почти постоянно гудящими моторами автомобилей.

Лес ничего не говорит нам, только предоставляет гостеприимно свои затененные полянки для прогулок и размышлений. Великолепный фон, в который легко вписывать события. Правда, время года не то и погода иная: тогда шел дождь, было холодно и темно. А над нами дневное небо, чуть выбеленное легкими облаками, мягкая осенняя прохлада. Мы шагаем по сухому песку и жухлой траве, а Исламбек спрыгнул с грузовика прямо на мокрый бетон, упал на него, видимо, а может, сумел, держась за борт, коснуться настила дороги, заработать бешено ногами, обретая собственную скорость. Впрочем, это маловероятно. Спидометр показывал девяносто – человек не способен повторить такой же темп движения, значит, он упал. Упал все-таки на мокрый бетон. Окунулся в ливень.

Мы шагаем спокойно, почти прогуливаемся, он бежал, торопясь укрыться в лесной чаще. Хотя мог и не бежать: кто стал бы преследовать его ночью, в дождь, машина имела точный маршрут и такой же точный срок прибытия на аэродром, задержка в пути не предусматривалась, следовательно, Исламбеку представлялась возможность делать все не торопясь. И все же он должен был уйти с шоссе. Перешагнуть бетонный выступ на кромке и ступить сапогами на мокрую, податливую, как трясина, землю.

Куда он пошел? Влево, вправо или попытался пересечь лес напрямик? Есть ли вблизи, за грядой леса, постройки? Мы идем и мысленно рисуем себе путь Исламбека. Вот просека, ее можно легко одолеть и снова углубиться в чащу. Но можно и задержаться, вслушаться – ведь с машины стрелял роттенфюрер. Автоматная очередь рассекла ночь, смяла шумы ливня и рокот мотора и, конечно, остановила беглеца, где бы он ни был тогда: на опушке, в просеке или уже

за грядой леса. Он мог все-таки ожидать погони. Мало ли что взбредет в голову роттенфюрера, остановит машину и примется искать. Впрочем, о погоне Исламбек не должен был думать: побег инсценированный, не случайно Галицын сказал накануне выезда, что у парня особое задание, и оно, безусловно, предусматривало прыжок с машины на берлинской трассе, именно в двух километрах от поворота на Потсдам.

Дорогу Исламбек, надо полагать, тоже не искал – все было продумано заранее и даже прорепетировано. Саид шел через лес уверенно, во всяком случае, не блуждал, как мы.

У него была конкретная цель. Видимо, какое-то жилье или пункт встречи. Вернее, все-таки жилье. Так нам кажется.

За полосой деревьев – дорога, и она ведет к постройкам. Они темнеют и светлеют вдали: дачи, особняки, фермы.

Живописен путь в Потсдам. Впечатление такое, будто вы едете старым парком и среди деревьев проглядывают любопытные по архитектуре, изысканные по отделке виллы. Рука художника присутствует всюду, и порой она настолько изобретательна, что привлекает и задерживает надолго взгляд путника. Яркости нет ни в линии, ни в цвете, все приглушенно, варьируется в сером и нежно-зеленом. Даже стекла огромных окон взблескивают тускло.

Неужели здесь, в старом аристократическом пригороде Берлина, приют беглеца? Маловероятно. Но мы все-таки останавливаемся у калитки одного из особняков и звонком нарушаем его покой.

Он слишком глубок, этот покой. Трижды проносится под сводами дома приглушенная трель – мы слышим ее у калитки, а отклика нет. Дремлет причудливое сооружение из серого камня, дремлет парк, затененный могучими кронами. Старый парк... Он-то и заманил нас сюда – новое, молодое нам не нужно.

Настойчивость способна потревожить все, даже сон замурованного в камень особняка. После четвертого или пятого звонка дверь на террасе растворилась все же и женщина в темном спустилась по ступенькам к нам. Она молода, темно-каштановые волосы скромно, но не без претензии на модность, собраны в высокую прическу, на плечи накинут вязанный жакет – сегодня прохладно и над парком проносится легкий знобящий ветерок. Молодость хозяйки разочаровывает нас: мы хотели бы видеть на ее лице следы далекого времени.

Она охотно отвечает на наши довольно странные для непосвященного вопросы – верит или не верит, но старается быть отзывчивой и предупредительной. Однако, увы, ничем помочь не может. В этом доме она живет с мужем и детьми, живет недавно. Прежде особняк принадлежал какому-то чиновнику, уехавшему в 1956 году на Запад, кажется, в Зальцбург. Как выглядели эти места во время войны – не знает. Вероятно, так же, – ни одна бомба сюда не попала. Но есть поблизости семьи, не покидавшие дома даже в сорок четвертом и сорок пятом годах. Кое-кого она знает. Женщина выглянула из калитки и показала на два особняка, укрытые ветвями деревьев, таких же тихих и монолитных, серо-зеленых, с большими светлыми окнами.

Нам не повезло. Звонки работали исправно, двери растворялись гостеприимно, на пороге появлялись тихие добрые старички и старушки, но они ничего не могли сказать о событии, произошедшем в осеннюю ночь 1943 года. Выстрела и крика никто не слышал. Раздавались выстрелы, конечно, даже днем. Однажды эсэсовцы искали пленного француза, искали с собаками. Шумели и стреляли, носились по всему лесу. Не нашли. А вот выстрел ночной не запомнился. И труп не видели, хотя многие жители обшарили всю округу, собирая желуди для кофе.

Значит, не сюда направился Исламбек, покинув машину. Но куда? Или вообще не углублялся в лес, а подождал на шоссе, когда подойдет другая машина, специально для него посланная, сел в нее и укатил в неизвестном направлении.

Утомленные и разочарованные, мы добрались до перекрестка. Более оживленного, чем аллея с особняками. Постройки здесь были попроще, даже совсем простые. Они толпились

около небольшого дачного магазина и бара с пивом, которое рекламировалось обычным для всех немецких гаштеттов способом: с левой стороны двери красовался знак пивной фирмы.

Мы имели право на небольшой отдых и поэтому смело направились в гаштетт. Наша машина пристроилась в хвосте претенциозно черного «форда», бесстыдно сверкающего зеркальной эмалью у самого крыльца. Если бы можно было, он наверняка влез бы и на крыльцо, но мешали высокие и довольно ветхие ступени. Нетрудно было догадаться, что хозяин в гаштетте и что он не из социалистического сектора Берлина – на «форде» стоял знак американской зоны.

В почти пустом баре, обставленном на старинный манер длинными дубовыми столами и стульями с высокими спинками, сидело человек пять-шесть посетителей и у самого входа, за отдельной высокой стойкой и на очень высокой скамье – американский офицер. Молодой, лощеный, в сверкающих, как и его «форд», штиблетах. Он читал не немецкую газету и курил. Перед ним стояла стопка с коньяком и бокал еще не тронутого пива. На обладателя «форда» никто не обращал внимания – подобные посещения иностранцев даже в офицерской форме – не редкость. Говорят, что в социалистическом секторе коньяк и водка дешевле, и американцы приезжают сюда с намерением запастись поднимающими жизненный тонус средствами. А возможно, есть и другие причины. Мы подумали именно о других причинах.

На нас обратили внимание все, включая и щеголеватого офицера из Западного Берлина. Впрочем, это не имело значения, главное, нас заметила хозяйка, а ее внимание гарантировало быстрое появление на столе пива и бутербродов: что еще нужно скромному путешественнику!

Пока фрау Кнехель, как называли хозяйку посетители, наполняла бокалы отличным «редебергером», издали светившимся чистым червонным золотом, мы рассматривали гаштетт с любопытством туристов и взыскательностью гурманов. Здесь все должно было отвечать изысканному вкусу завсегдатаев пивных баров, знающих толк не только в напитках, но и в способах их поглощения. Старина! Со всех сторон должна глядеть на человека старина: старинная картина, старинный буфет, старинная утварь. Всякий уважающий себя владелец бара обязан иметь на стойке или за стойкой тяжелые, надтреснутые, потертые временем и руками пивные кружки. Никто не требует высоких степеней исполнения от авторов картины или фаянсового штофа, но все должно источать аромат старины. И этому требованию вполне отвечает бар фрау Кнехель.

Кстати, хозяйка тоже стара и тоже тускло выцветена временем. На ней все от прошлого: и просторное платье, отделанное кружевом, и чепчик на седых волосах, и передник с оборочкой. Спокойный взгляд фрау Кнехель тоже выработан давней традицией: глаза ее, кажется, ничего не видят, но все примечают, и в любую минуту она может ответить, сколько вами выпито и сколько с вас причитается, если даже вы будете пить и есть целый день.

Сюда определенно должен был зайти Исламбек в тот вечер. Где еще можно найти приют в ненастную ночь? Удобное место для первого привала в пути и первой встречи с «неизвестным». Был же какой-то неизвестный, если не для Саида, то для нас, во всяком случае. Вот на этой резной, грубовато сколоченной вешалке он пристроил мокрую шинель, фуражку с черепом и перекрещенными костями на тулье. Сел за стол и попросил у фрау Кнехель чашку черного кофе (тогда это был суррогат из желудей) и кружку пива (не «редебергера», конечно). Или просто «мушель салат»...

– Да, да, он попросил кофе. Горячего кофе, – это уже не наше предположение, а слова старого больного Фельске, мужа хозяйки бара. Он лежит на потертой тахте, лежит не первый год – у него почти не действуют ноги, – сосет давно потухшую трубку – фрау Фельске, она же Кнехель, не разрешает мужу курить, врачи не советуют, – сосет трубку, довольствуясь ароматом табака, и вспоминает зимнюю ночь сорок четвертого года. – Самого горячего кофе. А вы представляете себе, что такое горячий кофе ночью, когда каждый брикет торфа на учете? Это же война! Но унтерштурмфюрер был не простым посетителем, а нашим будущим постояль-

цем. Я уже говорил вам, что появлению господина Исламбека предшествовал визит капитана из управления СС. Он не назвал свою фамилию, не счел нужным, да и зачем было представляться какому-то Фельске, главное, важное лицо и оно приказывает. Из чего я заключил, будто капитан очень важное лицо? Он приехал на «мерседесе», а во время войны на «мерседесах» раскатывали только важные лица. Ну, и потом форма. Еще какая форма! Когда всю жизнь проторчишь за пивной стойкой, научишься разбираться в людях. В общем, я сразу понял, какова птица. Потом деньги. Он дал мне сто марок и предупредил, что они у него не последние. Впрочем, если бы даже господин гауптштурмфюрер не протянул мне тогда сто марок, я все равно не отказал бы ему в любезности. Шла война, заметьте, и хозяином в Германии был не Фельске. Так вот, господин в форме гауптштурмфюрера, уплатив деньги, снял у меня комнату с пансионом. Представляете себе, важное лицо снимает квартиру в пивном баре! На моей глупой физиономии изобразилось такое удивление – Фельске никогда не умели ничего скрывать, – что капитан поднял руку и успокоил меня: «Жить будет мой подчиненный». И показал фотографию какого-то молодого человека – не немца, не поляка и даже не итальянца, с которыми мне приходилось встречаться прежде. Я думаю, это был турок. Или я ошибаюсь? – Фельске посмотрел на нас, требуя подтверждения. – Нет. Ну, хорошо, что-то близкое к этому. Молодой человек был снят в форме СС со знаками различия лейтенанта. Уж тут я не ошибся, за мой век в гаштетте побывала не одна сотня офицеров.

– Унтерштурмфюрер приедет с вами? – спросил я у капитана.

– Нет, один.

– Могу ли я надеяться на свою память?

– Он покажет документы. Его фамилия – Исламбек. Вы думаете, Фельске запомнил эту мудреную фамилию? Как бы не так! Он просто записал ее в книжечку рядом с именами своих кредиторов, конечно, после отъезда капитана. Я не думаю, что он одобрил бы мою хитрость, ведь эти господа из СС не любят, когда ими интересуются и их имена сохраняют в черепной коробке. К тому же гауптштурмфюрер, прощаясь, предупредил меня:

– Слушайте, Фельске, вы, наверное, хотите дожить до конца войны, и не только дожить, но и сохранить свой гаштетт?

Я все понял, капитан мог не продолжать, но он не понадеялся на мою сообразительность и добавил:

– Вы меня не видели и ни о чем со мной не говорили...

Конечно, я ничего не видел, мне хотелось получить вторую сотню марок. Откровенно говоря, я уже чувствовал ее в руках. Боже, как я ошибся. О марках ли надо было думать!

Фельске замолчал и умоляюще глянул на жену, которая стояла в дверях со сложенными на груди руками.

– Я подымлю, Матильда?

– Тебе нельзя, Томас! – холодно и непреклонно отрезала фрау Фельске, она же по отцу Кнехель.

– Да, мне нельзя, – пояснил уже нам хозяин. – Матильда знает, что табак вреден. Но он так необходим иногда...

Мы молча присоединились к просьбе Фельске и выразили, как и он, со всей откровенностью свое желание на наших физиономиях.

– Ну, хорошо, – уступила мужу фрау Матильда. – Только одну щепотку. Нет, нет, я сама набью трубку.

И фрау Матильда, оставив свой пост у двери, прошла в комнату, открыла буфет, пошарила в нем, извлекла из тайника коробку с табаком и отделила нужную, по ее мнению, порцию. Фельске наблюдал за этой церемонией с лихорадочным блеском в глазах. Когда трубка была наконец набита, он принял ее благоговейно от фрау Матильды и поднес ко рту.

Закуривать не торопился, хотел, видимо, отдалить счастливый момент. Так, держа трубку на весу, заговорил оживленно:

– Да, о марках не пришлось и думать, хотя вначале все шло прекрасно: деньги лежали в спальне Матильды, а турок не появлялся. Он мог вообще не появиться – война, сами понимаете, молодых гонят на фронт, тридцатилетнему унтерштурмфюреру, как я определил его возраст по фотографии, самое время маршировать с винтовкой. Ты согласна со мной, Матильда?

Фрау Фельске, она же Кнехель, ничего не ответила, только кивнула, подтверждая слова мужа.

– Так вот, унтерштурмфюрер был молод и мог не появиться, а его марки остались бы у меня. Но он появился... Тайно... – Фельске наконец закурил и, затянувшись, пребывал минуту в мире блаженства, знакомого лишь истому курильщику. Короткий срок минул, хозяин вернулся к нам помолодевшим и веселым: – Тайно... Ха-ха! Эти мудрецы из гестапо думали, что они хитрее всех...

– Не гестапо, – поправила тоном цензора фрау Кнехель. – Из управления СС.

– Матильда лучше меня разбирается в этих названиях... Мудрецы из управления СС полагали, что все люди без глаз и ушей. Возможно, это так, но мы с Матильдой привыкли присматриваться и прислушиваться: у нас все-таки гаштетт и он требует внимания. Ночью, да и днем не мешает лишний раз проверить запоры на дверях, к тому же шла война и сытых людей было меньше, чем голодных. Сытый пройдет мимо закрытой двери, а голодный ее потрогает. И вот однажды поздно вечером Матильда говорит: «Слушай, Томас, на улице какие-то звуки, подними штору и посмотри». Когда дело касается собственного дома, не приходится дважды напоминать. Я встал и выглянул наружу. Что, вы думаете, я увидел? Моего капитана. Он стоял около гаштетта и тыкал пальцем в двери и окна: показывал унтерштурмфюреру, где вход и где выход. Это мне не особенно понравилось. В конце концов, я имею право жить спокойно в собственном доме, зачем мне нужны секреты гестапо или управления СС. Но так я лишь подумал. Повторяю, в Германии хозяином был не Фельске. Я молча ждал, когда гауптштурмфюрер постучится к нам в дверь. Но он не постучал, походил вокруг дома и укатил на своем «мерседесе».

Сто марок придется все-таки отрабатывать, решил я. И на этот раз не ошибся. Через десять дней в гаштетт явился сам лейтенант... Явился и попросил кофе. самого горячего.

Я забыл сказать, что господин гауптштурмфюрер предупредил меня относительно этого самого кофе:

– Если войдет посетитель и попросит горячего кофе... Очень горячего, значит, это – он, ваш постоялец. И еще извинится, что у него нет с собой денег. Вы потребуете документы. На фотографии, приклеенной к удостоверению, будет такое же лицо. – Капитан еще раз показал мне карточку унтерштурмфюрера: он хотел, чтобы я хорошо запомнил ее.

Я запомнил, и когда вошел в бар лейтенант, сразу узнал его...

– Ты забыл сказать, – вошла в свою роль корректора фрау Матильда, – что в тот вечер шел сильный дождь, а когда приезжал господин гауптштурмфюрер, было ясно и светила луна.

– Табак не так силен, чтобы восстановить в памяти каждое слово, ты держишь его в сыром месте, – заметил Фельске, однако тут же прибег к помощи своей трубки и глубоко затянулся.

Мы сочли возможным задать вопрос словоохотливому хозяину.

– Когда примерно это произошло?

– Вас интересует час или день?

– День.

– Я не могу назвать число, хотя оно и было чем-то знаменательным... – Фельске задумался. – Нет, нет, табак не слишком крепок, – укоризненно произнес он, но затянулся еще раз.

– Хватит, Томас!

– Почему хватит, если я еще не все вспомнил, – несмело запротестовал Фельске. – Что-то произошло в тот день...

– Мы получили извещение о смерти брата Карла, – без каких-либо эмоций восстановила печальную дату фрау Матильда.

– Боже мой! Как мог я забыть, – хлопнул себя по колену хозяин. – Брат Карл! Он погиб в октябре сорок третьего года... Какая светлая голова у Матильды! Что бы я делал без нее...

– Не стони! – прервала мужа фрау Фельске. – Господ не интересуется брат Карл... Рассказывай, что было в тот вечер! И перестань курить...

Приказ подействовал: Фельске вынул изо рта трубку и приглушил тлеющий табак пальцем, как это делают курильщики во всех частях света. Глаза поднялись на жену – в них была обида и даже возмущение: слишком деспотично фрау Кнехель, – когда Фельске испытывал недовольство женой, он называл ее по фамилии тестя – Кнехель, – слишком деспотично подавляла его желания.

– В тот вечер я окончательно убедился, что сто марок мне не подарены гауптштурмфюрером и их придется отрабатывать. Матильда подала лейтенанту кофе... Нет, мы его не кипятили, это же был условный знак, – а я просмотрел документы молодого человека. Первый раз в жизни мне пришлось держать в руках книжечку со свастикой на обложке. Удостоверение подтверждало, что предьявитель его унтерштурмфюрер СС и инструктор каких-то специальных курсов. Почему-то у меня дрожали руки, когда я возвращал книжицу своему постояльцу. Между прочим, у него тоже дрожали руки – это я заметил. И сам он был бледный как смерть...

– Он был в крови, – вставила фрау Матильда. – Брюки на коленях порваны, и сапоги оцарапаны чем-то острым...

– Да, да, – кивнул Фельске. – Кровь, дыры на брюках... Но нас это не интересовало, мы помнили предупреждение капитана. Я лишь сказал лейтенанту: пройдите к себе в комнату, она свободна. Умыться можно здесь, за кухней... Когда он встал и пошел, правая нога его припадала. Ушиб, бедняга, или в него стреляли. Впрочем, выстрела мы не слышали...

Исчезновение человека на Берлинском кольце не произвело впечатления на коменданта «Специальных курсов особого назначения – Ораниенбург», хотя два часа назад он отправил его по наряду начальника лагеря и сам лично усадил в машину, идущую на военный аэродром. Комендант выслушал донесение оберштурмфюрера, переданное по телефону, кивнул дежурному, чтобы тот соединил его с Главным управлением СС, через десять минут продиктовал шифровку в отдел и на этом закончил свою миссию.

С Моммзенштрассе из Главного управления СС к месту происшествия выехал всего один человек – начальник «Тюркостштелле» гауптштурмфюрер Рейнгольд Ольшер. Почти до утра его «мерседес» носился по Берлинер рингу и вернулся весь облепленный грязью и травой. Водитель долго обмывал лимузин после этого путешествия и поставил его на отдых лишь в полдень. Вечером, как только стемнело, Ольшер снова отправился на кольцевую трассу. На этот раз он вернулся в полночь и машина была в довольно приличном состоянии. Сам гауптштурмфюрер немного нервничал, но, судя по мягкому тону, которым он произнес свое обычное: «Машина мне понадобится утром», настроение у капитана было хорошее и поездкой он остался доволен.

На третий день, только на третий, в Берлине появилось сообщение о побеге государственного преступника, агента английской разведывательной службы. За поимку предлагалось вознаграждение в три тысячи марок. Давались сведения о его внешности, манерах, перечислялись особые приметы. К ним, в частности, относились выющиеся волосы, тонкая стрелка усов над припухлой верхней губой, удлиненная мочка правого уха. Не много для опознания человека, одетого в военную форму, такую обычную для тех лет. К тому же форму офицера СС. Кто ста-

нет присматриваться к обладателю знака на правой петлице кителя, сам вид которого вызывает страх у гражданского немца?

Видимо, поэтому в первую неделю после побега в полицию не поступило ни одного сигнала. Не побеспокоили дежурного и в следующие семь дней, если не считать лепета какой-то полоумной старухи, интересовавшейся, действует ли еще пункт извещения, предусматривающий выплату трех тысяч марок за обнаружение беглеца. Когда дежурный подтвердил, что действует, старуха пообещала внимательно присмотреться к одному молодому человеку, ежедневно проходящему мимо ее окон и строящему гримасы собачке, сидящей на подоконнике.

Потом вдруг стали сыпаться сигналы со всех концов Берлина. Английского агента видели у кассы метро на Данцигерштрассе, в самом центре, на коротенькой Музеумштрассе, у Гроссе Мюнгельзее, где уже не действовала лодочная пристань, а только принимал случайных посетителей летний ресторан, на станции Ноекельн, по дороге в Потсдам у стойки пивного кабака. Все торопились получить три тысячи марок или хотя бы часть этой суммы за бдительность и верность рейху. Но полиция не оплачивала верноподданнические чувства, ей требовался сам агент, человек с усиками и кудрявыми волосами. Месяц продолжался ажиотаж, затем пыл берлинцев стал спадать. Тогда появилось повторное извещение, в котором беглец назывался очень опасным преступником. Как бы между прочим сообщалось, что место, откуда он бежал, имеет секретное значение. Вознаграждение за поимку увеличивалось до пяти тысяч марок. Берлинцам это показалось лотереей без выигрыша, и они, как люди безусловно практичные, отнеслись равнодушно к новому извещению. Даже полоумная старуха не откликнулась на призыв полиции.

– Вы знали о трех тысячах марок, обещанных за выдачу Исламбека?

Словоохотливый Фельске почему-то смутился и замолчал. Нужен был совет фрау Кнехель, к ней он и обратился взглядом.

– Знали, конечно, – твердо и спокойно ответила за мужа хозяйка. – Но мы не глупы, чтобы совать голову в петлю.

– Да, зачем совать в петлю голову, когда господин гауптштурмфюрер уже накинул ее и стягивал потихоньку. – Фельске потрогал собственную шею ладонью, словно отыскивал следы веревки, когда-то заменявшей воротник.

– Три тысячи все-таки больше, чем сто марок. К тому же полиция увеличила вознаграждение до пяти тысяч...

– А кто их получил? – в ответ спросил хозяин. – Кто? Этими извещениями во время войны, извините, пользовались в сортирах.

– Ты не то говоришь, Томас, – напомнила мужу фрау Кнехель.

Фельске сунул в рот давно потухшую трубку и потянул в себя аромат продымленного табака.

– Я говорю не то, а что я говорю? На шее у нас была петля.

– Вот, вот, – одобрила фрау Матильда.

– Ох, эта петля, – горько вздохнул Фельске. – Я чувствую ее до сих пор. Мы не могли интересоваться нашим постояльцем из-за этих несчастных ста марок. Когда появилось объявление, капитан привез нам его сам и повесил на дверях гаштетта. Вы представляете себе такую наглость? Преступник сидит в моем доме, а у входа красуется призыв к его поимке. Нет, вы не представляете себе этого! Он не только повесил проклятую бумагу, но еще и сказал:

– Если какой-нибудь болван захочет заработать три тысячи марок, он их получит полностью у апостола Павла. Об этом я сам беспокоюсь.

Вы, надеюсь, поняли, на что намекал капитан из управления СС. И это еще не все. Он добавил:

– Господин Фельске, вы лично будете отвечать за безопасность вашего постояльца. Передайте милой фрау Кнехель, что она может спать спокойно и совершенно не думать о деньгах – их нет ни в гестапо, ни в полиции.

В конце беседы господин гауптштурмфюрер вдруг обнаружил в моей черепной коробке мозги.

– Фельске, вы умный человек, – сказал он. – Запомните – это объявление не для немцев...

Я думаю, капитан ошибся относительно моих умственных способностей, до сего дня мы с Матильдой так и не поняли, для кого было написано объявление. Для кого?..

– Томас, ты опять говоришь не то, – вмешалась фрау Кнехель.

– Нет уж, – вдруг обрел мужество Фельске. – Я говорю именно то. Капитан накинул нам на шею петлю и так затянул, что дышать стало невозможно. Мы должны были не только кормить и поить своего квартиранта, но еще и оберегать его покой. Люди ходили в гаштетт пить пиво и кофе, интересовались преступником и тремя тысячами марок, а я, как идиот, изображал из себя бессребреника и призывал не думать о благе в этом грешном мире. Фриц Шлегель как-то сказал мне: «Что за постоялец у тебя, Томас, сдается мне, что он кудрявый и носит усыки». «Господь с тобой, – ответил я. – У него не то что на губе, но и на голове нет волос... К тому же он унтерштурмфюрер СС и сам прислан сюда искать преступника». По поводу отсутствия волос Шлегель усмехнулся, а вот звание офицера СС его привело в уныние. «Ты уж, Томас, не передавай ему этого разговора...»

В общем, с появлением в моем доме постояльца жизнь наша превратилась в муку. Лейтенант не сидел на месте, вставал утром, пил кофе и отправлялся невесть куда. Возвращался к обеду, отдыхал и снова – в путь. Вечером тоже не торопился лечь спать, совершал прогулки по лесу и дороге. Он гулял, а Фельске должен был заботиться о его безопасности, – так наказал капитан. Иногда к унтерштурмфюреру приходили гости, похожие на него, пили вино и даже шнапс. Денег у них было много, и желаний не меньше. Однажды потребовали, чтобы я пригласил для них девушек. Черт знает что такое! Фельске превращался в содержателя публичного дома. Нет, хватит, решил я...

– Наше дело основано моим покойным отцом, – обидчиво заметила фрау Матильда. – Сорок лет наши двери гостеприимно распахнуты для почтенных господ. Тут все знали старого доброго Кнехеля и даже меня в память об отце называют, как вы заметили, фрау Кнехель. Доброе имя не забывается...

– Именно, – подхватил обиду жены Фельске. – Пусть гестапо, пусть СС, пусть тюрьма, но дальше терпеть муки из-за каких-то ста марок мы не будем. Поеду в Берлин, найду капитана и потребую, чтобы он убрал своего унтерштурмфюрера...

Бог свидетель, намерение мое было твердым и уж, поверьте, своего Фельске добился бы. Но тут произошло неожиданное, сама судьба вынесла приговор...

– Я молилась, – со слезой в голосе произнесла фрау Матильда. – В ту ночь я молилась...

Старый, потрепанный «опель» затормозил у самого поворота на Потсдам и тут притих. С включенным мотором машина стояла минут десять, пропуская летящие мимо грузовики. Она казалась брошенной – ни внутри, ни снаружи не примечались огни, никто не выходил из «опеля», никто не опускал стекла и не открывал дверцы. Потом мотор ожил, выбросил облака газа, попятил машину к кромке бетона. Здесь она снова задержалась, с трудом переползла выступ на обочине и скатилась на траву.

Шел плотный, тихий, ни на минуту не стихающий осенний дождь, такой обычный для берлинских пригородов в это время года. Трава была не только мокрой, она тонула в высокой воде, не успевающей впитаться в перенасыщенную влагой землю. По обильной мокрети машина проследовала до первого ряда деревьев, наткнулась на них, осторожно обошла, углу-

билась в лес. Но не намного. На первой же полянке остановилась и утихла. Теперь дверца, наконец, отхлопнулась и, пригибаясь, из «опеля» вылезли два человека.

– Долго не задерживайтесь, – прозвучал голос изнутри.

– Как управимся, – ответил вылезший первым.

– Часа достаточно?

– Вряд ли... Этот сын праха пьянеет медленно... Во всяком случае, вы сможете хорошо подремать...

– Разве уснешь?!

– Попробуйте, эффенди. В такую погоду снятся приятные сны.

– Если бы...

– Пожелайте нам удачи, эффенди!

– С вами Бог...

Он не понял, что умирает. Ему показалось, будто голова упала на подушку и не может подняться. Какое-то мгновение руки боролись, слабые, непослушные руки, пытаюсь избавиться от душного плена. Не хватало воздуха. Он, кажется, закричал, позвал кого-то, но звук погас, не оторвавшись от губ. Его никто не услышал. Голова все глубже и глубже погружалась в духоту, пока не застыла там, с выкатившимися в диком ужасе глазами.

Так, вдавленного в поросшую густой травой и наполненную дождем выбоину, его продержали минут пятнадцать, потом осторожно приподняли. Он не шевелился...

Машина все еще стояла на полянке, под кронами дубов. Двое вернулись, и один, шедший впереди, постучал ногтем в смотровое стекло.

– Это мы, эффенди.

Дверца отворилась, высунулась голова в высокой фуражке.

– Все в порядке?

– А разве когда-нибудь было иначе?

– Я слышал крик в чаще, не то человека, не то птицы...

– Птица, эффенди... Здесь же лес.

– Конечно, конечно... Влезайте, дождь ужасный.

– Что вы, эффенди, чудесный дождь. Он умывает мир.

– Главное, дорогу, – уточнил второй из подошедших и подтолкнул товарища в машину.

– Выстрела не было... Вообще не было никакого шума, – пояснил Фельске. – Мы с Матильдой сидели у окна и ждали возвращения квартиранта. Он же сказал уходя: «Я провожу друзей», а товарищ, смеясь, добавил: «Приготовьте ему горячего кофе, он немного пьян». Мягко сказано – пьян, ноги его едва переступали, а язык заплетался на каждом слове. Кофе, конечно, мы не стали готовить в такое время, да и желания не было обслуживать унтерштурм-фюреру. Терпение наше кончилось, и я ждал лишь утра, чтобы поехать в Берлин и найти там капитана. Петлю надо было разорвать.

– Томас сидел очень долго, – вставила в рассказ свое уточнение фрау Кнехель. – Я не выдержала и пошла спать, в конце концов мы тоже люди и нам полагалось отдохнуть, к тому же в шесть утра должны были привезти пиво... И что вы думаете, я встала в полшестого и вижу Томаса у окна... Боже мой...

– Ничего особенного, я тоже уснул... Не заметил, как пришел сон... – Фельске почему-то улыбнулся, вспомнив давно минувшее событие. В нем кроме трагического, видно, было и что-то смешное. – Я уснул и попал локтем в чашку с холодным кофе, попал и не заметил...

– Еще бы, до утра пялить глаза в окно, так не в кофе, а в суп попадешь и не почувствуешь... Но ты опять не то говоришь, – рассердилась фрау Матильда. – При чем тут кофе...

– Я уже не знаю, о чем надо говорить... Дай мне закурить, пожалуйста. – Ему разрешили закурить, и не только разрешили, – хозяйка сама зажгла спичку и поднесла ее к трубке. – Кофе действительно не при чем... Я уснул перед утром, все надеялся, что наш унтерштурмфюрер постучит в дверь. Вначале меня сердила его беспечность – нельзя все-таки заставлять ждать. Потом стал беспокоиться: ушел пьяный, где-нибудь упал и лежит под дождем, мокнет... Пропадет человек, жаль, как ни говорите... В сущности, он не сделал нам ничего плохого, жил смирно, вел себя прилично, ну, бывали иногда друзья, выпивали – с кем это не случается. Притом молодость. Нет, я искренне беспокоился за унтерштурмфюрера...

– Он был преступник, – вынесла приговор фрау Кнехель.

– Глупости, – отверг обвинение жены Фельске. – Такой же кролик, как и мы, и с такой же петлей на шее... Нам не успели ее затянуть, унтерштурмфюрер поторопился и переступил порог раньше времени... Обратной дороги уже нет...

На рассвете, позднем в это время года, унтерштурмфюрера обнаружил патруль, объезжавший кольцевую трассу. Солдаты сошли с мотоциклов, чтобы облегчиться, и увидели мертвого человека. Он лежал, уткнувшись лицом в выбоину, наполненную дождем, раскинув руки и стиснув пальцами мокрую жухлую траву.

Через полчаса о происшествии доложили в комендатуру, а затем в полицию и Главное управление СС, – на убитом была эсэсовская форма и документы, подтверждающие его принадлежность к ведомству Кальтенбруннера.

В управлении СС выразили недовольство тем, что труп отправлен в полицию. Какой-то гауптштурмфюрер отчитал дежурного по комендатуре за слишком высокую оперативность, назвал патрульных олухами.

– Неужели вы до сих пор не знаете, что мертвых оставляют на месте преступления, чтобы зафиксировать обстановку и снять следы? Черт знает что такое!

Дежурный извинился и сказал, что примет замечания к сведению и исполнению.

Через какие-нибудь полчаса гауптштурмфюрер Ольшер примчался в полицию и потребовал, чтобы ему показали труп.

Убитый валялся на цементном полу, хотя по званию ему следовало лежать хотя бы на скамейке, – все-таки офицер СС.

– Обыскивали? – спросил унтерштурмфюрер.

– Да, еще там, в лесу... патрульные, – ответил инспектор и подал Ольшеру удостоверение.

– Еще!

– Больше нет... Вернее, не было, – поправился инспектор. – Удостоверение передал старший по наряду.

– Я обыщу сам. – Гауптштурмфюрер опустился на колени и стал расстегивать на мертвеце китель. Делал он это с лихорадочным нетерпением, почти вырывал из петель пуговицы и отпахивал мокрые полы. – Помогите снять мундир!

Инспектор без охоты, с откровенной брезгливостью дотронулся до мертвого и сейчас же отстранил руку.

– Ну, тяните же! – прикрикнул на полицейского гауптштурмфюрер.

Вместе они раздели убитого, сняли все, вплоть до нижнего белья. Ольшер обшарил карманы, прощупал подкладку. И чем меньше оставалось непроверенных уголков в одежде, тем тревожнее и растеряннее становилось лицо гауптштурмфюрера. Отбросив мундир, он принялся за белье. Ничего не нашел. Впился глазами в мертвеца, словно хотел выпытать у него тайну.

– Дьявольщина!

– Пропало что-то? – нерешительно спросил инспектор.

– Да, то есть нет, – опомнился Ольшер. – Где обнаружили труп? Точное место!

Инспектор подал донесение патрульного офицера и стал объяснять, как лучше найти участок дороги с путевым знаком.

– Ясно, – оборвал гауптштурмфюрер. – Два километра до поворота...

– Как? – переспросил инспектор – Почему два?

Губы Ольшера искривились от досады – он не то хотел сказать инспектору, вернее, ничего не собирался говорить. Но уже было сказано, поэтому эсэсовец поправился:

– По моим подсчетам...

– А?!

Фельске все рассказал Ольшеру, все до мельчайших подробностей, даже упомянул свой локоть, попавший в чашку с кофе. Гауптштурмфюрер слушал рассеянно и только кивком головы подтверждал, что слова хозяина гаштетта до него доходят. Когда наконец запас сведений и предложений иссяк и Фельске смолк, Ольшер спросил:

– Кто был у него?

– Каждый раз новые люди...

– Этой ночью!

– Одного разглядел, когда он советовал приготовить крепкий кофе. Такой чернявый, похож на моего постояльца. Второй в форме?

– СС?

– Нет, вермахта... А вот лицо не видел, козырек заслонял... Но вы не огорчайтесь, господин гауптштурмфюрер... Их найдут.

– С чего вы решили, что я огорчаюсь?

– Простите, мне так показалось...

Ольшер осмотрел комнату, где жил Исламбек. Долго стоял у маленького шкафа для белья, потом резко повернулся к хозяину.

– Оставьте меня одного.

– Хорошо, хорошо, господин гауптштурмфюрер... – Фельске попятился, протиснул свое рыхлое тело сквозь узкую дверь. Захлопнул створку и застыл у нее.

– Уйдите! – крикнул Ольшер, догадываясь, что хозяин собирается подсматривать в замочную скважину.

Громко шаркая туфлями, Фельске исчез.

Еще некоторое время Ольшер стоял неподвижно у шкафа и вдруг бросился к нему, отвернул дверцу и принялся шарить руками внутри. Не обыскивал, не уточнял, как бывает при проверке помещения, не перебирал встречающиеся вещи, а отбрасывал их: не то, не то! Ему нужен был только пакет. Пакет в тонкой клеенчатой обертке. И ничего больше. Пальцами, горячими, чуть вздрагивающими от напряжения, он угадал бы сразу холодную, скользкую ткань. Но она не попадалась, все – тряпки, картонки, даже стекло. А клеенки нет, лакированной клеенки пальцы не находят.

Дважды пробежал он руками по полкам шкафа и замер, прошла минута, другая, прежде чем гауптштурмфюрер отстранился от распахнутого настежь дощатого ящика и шагнул на середину комнаты. Как когда-то, в страшный для него день, и, кажется, единственный, напавший на начальника «Тюркостштелле» о бренности всего существующего, рука его потянулась к пистолету. Во внутреннем кармане кителя лежал подаренный ему Шелленбергом «вальтер». Зачем-то подаренный. За заслуги? Тогда гауптштурмфюрер еще ничем себя не проявил, ничего не сделал полезного.

Символическое подношение, оно говорило не о начале, а о конце.

– Господин гауптштурмфюрер, – пропищал где-то за дверью хозяин.

Ольшер сморщился, будто его настигла зубная боль.

– Господин гауптштурмфюрер!

- Ну, что вам? – простонал Ольшер.
- Господин гауптштурмфюрер, вы здесь еще?
- Неужели вы думаете, что я способен раствориться или вылететь в ваш дымоход?
- Нет, нет, просто стало тихо... И я напугался... Ночью тоже было очень тихо... Понимаете, тихо.
- Убирайтесь к черту! – ругнулся Ольшер.
- Как вам будет угодно... Только я теперь боюсь тишины.
- Боже мой, существуют же на свете такие кретины... – Ольшер запахнул шинель и шагнул через порог. Фельске угодливо посторонился, пропуская гауптштурмфюрера в переднюю.
- А если господин хочет горячий кофе, я мигом...
- Благодарю. Пейте сами, – буркнул эсэсовец и открыл дверь на улицу.

6

Промежуток длиною в год несколько сократился. Остались незаполненными какие-нибудь месяцы. Но перескочить их и вернуться во Фриденталь мы не могли, точнее, не имели права. Унтерштурмфюрер, убитый на Берлинском кольце, мешал нам двигаться по намеченной схеме. Появилось больше тупиков и загадок, чем прежде.

Получалось так, что Исламбек физически исключался из операции, которая позже продолжалась под кодированным названием «Феникс-2». О ней упоминается в донесении Берга в августе и затем повторно в сентябре и октябре. В последнем обширном докладе нашего разведчика, сделанном лично полковнику Белолипову, фигурирует Берлинское кольцо с дорожным знаком: «До поворота на Потсдам 2 километра», много раз называется начальник «Тюркост-штелле» Рейнгольд Ольшер и документ, исчезнувший из кителя унтерштурмфюрера в роковую октябрьскую ночь. В докладе подчеркивалось, что документ этот принадлежал гаунтштурмфюреру Ольшеру и представлял исключительную ценность для советской контрразведки.

Убийство и похищение произошло в октябре, а Берг доложил о нем, и то не специально, а в связи с другими данными, лишь в начале декабря. Видимо, наш разведчик ничего не знал о пакете в черной клеенчатой обертке. Не придавал он поэтому значения и самому убийству, хотя объявление, обещавшее награду за выдачу английского агента, судя по докладу, не прошло мимо Берга, было изучено им и сделаны предположения, которые подтвердились дальнейшим ходом событий.

Странно только, что Берт нигде не отметил одну важную деталь в извещении полиции. Ее передал нам Фельске. В первом объявлении, назначавшем награду в три тысячи марок, была фраза: «Бежал важный государственный преступник, приговоренный к смерти». Значит, унтерштурмфюрер Саид Исламбек к октябрю 1943 года был уже осужден. Не зная этого Берг не мог: «двадцать шестой» находился под его покровительством. Исламбека держали во внутренней тюрьме гестапо, а Берг работал в политической полиции. Дело по Бель-Альянсштрассе проходило через него, и в этом деле фигурировал Саид Исламбек. Оберштурмфюрер участвовал в обыске квартиры Исламбека, присутствовал при завершении операции в доме председателя Туркестанского национального комитета, когда был схвачен «двадцать шестой». И вот этот Берг не знал о смертном приговоре. Или мы столкнулись с пропагандистским маневром немецкой контрразведки, приняли фальшивку за подлинный документ.

А вдруг?

Приговор должен был где-то храниться, если он существовал. Правда, большую часть архивов гитлеровцы уничтожили. Много сгорело при бомбежке. Но судебная документация имеется – не полная, конечно. Может же выпасть удача – и приговор обнаружится.

Мы прибегли к содействию работников берлинских архивов, очень отзывчивых и исполнительных людей. Назвали октябрь 1943 года. Позже не могло быть – Исламбек пал на Берлинер ринге.

Ответа пришлось ждать не особенно долго. Но он был разочаровывающим – нет. Дело унтерштурмфюрера не обнаружено. Его или не было, или оно утеряно. Сгорело или изъято кем-то. Последнее предположение взял под сомнение работник архива – опытный, знающий человек: материалы особой коллегии за этот период сохранились почти полностью.

Почти! Остались не связанные с деятельностью Главного управления СС и управления шпионажа и диверсий. А дело Исламбека имело непосредственное отношение к полиции безопасности и службе безопасности. Это необходимо было учитывать, предпринимая поиски. Приговор изъят. К такому решению мы пришли и смирились с утерей одного из звеньев цепи. В конечном счете подобных потерь было много на этой стадии поисков и еще одна не слишком огорчала нас.

Мы покинули Берлин на какое-то время, шли по другим тропам «двадцать шестого», более поздним и более ясным, а когда вернулись в отель на Альбрехтштрассе, нас ждали здесь два сюрприза. Первый не имел никакого отношения к приговору.

В вестибюле на диване для посетителей сидела фрау Фельске, она же Кнехель. Сидела с газетой в руках и, кажется, читала. Нас она не заметила. Впрочем, мы тоже не сразу узнали в претенциозно одетой даме с баульчиком на коленях хозяйку скромного гаштетта из пригорода Берлина. Но когда она оторвалась от газеты и глянула на стойку бюро, где мы получали ключи от номера, нам показались очень знакомыми седые кудряшки, обрамлявшие розовое лицо: в Берлине они были слишком редкими, эти особенные, пришедшие из прошлого, кудряшки.

– Фрау Кнехель?!

– Я, конечно, я, – заулыбалась дама и поднялась к нам навстречу.

Она улыбалась, но лицо ее хранило следы какой-то озабоченности и даже тревоги. Глаза пристально, с немым вопросом смотрели на нас, словно фрау Кнехель хотела в первое же мгновение получить ответ, узнать что-то.

Мы поздоровались как старые друзья, и хозяйка гаштетта немножко успокоилась. Улыбка стала светлее и беззаботнее. Но вопрос был во взгляде, и она сразу же задала его, едва только мы уединились в дальнем углу слишком большого, пронизанного рассеянными лучами осеннего солнца холла.

– Вы назовете имя моего мужа... где-нибудь? – вынимая из баула кружевной носовой платок и притрагиваясь им к щеке, будто там должны были появиться слезы, произнесла фрау Кнехель.

– Возможно.

– Конечно, это ваше дело... Мы с Томасом проявили любезность...

– Наша благодарность может быть выражена вторично, – ответили мы, не понимая, чего хочет эта старая женщина.

– Да, да... Нам приятно было беседовать с вами... Такие интеллигентные люди... Но Томас обеспокоен... – фрау Кнехель снова коснулась уже смятым нервными пальцами платком щеки, на этот раз несколько ближе к глазам. – Когда всю жизнь проживешь честно, надеясь только на свои руки, обидно предстать перед людьми запятнанными... Всякое могут подумать, особенно молодые. Они не знали войны, не знали страха.

Тревога четы Фельске все еще была непонятна нам. Фрау Матильда прочла недоумение в нашем взгляде и смолкла. Видимо, в душе старой женщины родилось сомнение – мы не проявляли злобы, не навязывали оценок поступкам хозяина гаштетта, вообще ничем не выказывали своего отношения к событиям, происшедшим двадцать лет назад.

– Я хотела объяснить вам, что мы во всей этой истории выступали только как частные лица... Ну, как хозяева. Томас никогда не состоял в нацистской партии и не был на службе у коричневых. Он даже не воевал, как вам известно. Мы оба больные люди и ничем не интересуемся. Молим Бога дать нам возможность тихо дожить свой век... Новая власть нас вполне устраивает, мы признаем ее и одобряем. Она не трогает маленьких людей – наш бирхале стоит на месте, как сорок лет назад, и все в нем есть. Можно ли жаловаться или выражать недовольство...

– Вас тревожит только прошлое? – наконец поняли мы причину визита фрау Кнехель.

– О да. Только нелепая история с гауптштурмфюрером.

– Из-за несчастных ста марок?

Испуг снова вспыхнул в выцветших от времени глазах хозяйки гаштетта: она уловила издевку в нашем тоне. Испуг помог родиться первой слезе. Правда, она была тощей, совсем не соответствующей габаритам фрау Кнехель, и застряла на белой реснице, не собираясь скатываться. Однако наша гостья поспешила поднять платок и прижать его к сухим векам.

– Надо было жить на что-то, – всхлипнула фрау Кнехель-Фельске.

Это, конечно, философия, но не оправдание поступка, итогом которого стала смерть человека на Берлинском кольце.

– Вы знаете фамилию офицера из управления СС?

Она не знала и любопытно подняла брови, очень тонкие и такие же белесые, как и ресницы.

– Нет... Или это важно? Какое-нибудь значительное лицо?

– Во всяком случае, не простое, – с каверзным желанием смутить гостью сообщили мы. – Начальник «Тюркостштелле», Главного управления СС, гауптштурмфюрер Рейнгольд Ольшер.

На фрау Кнехель это не произвело впечатления. Брови остались на той же высоте: гостья ждала еще чего-то более потрясающего.

– Он военный преступник и осужден международным трибуналом.

– Боже! – всплеснула руками гостья. – Военный преступник. Кто бы мог подумать! Воспитанный, благородный человек...

Благородный человек и военный преступник! Искреннее недоумение фрау Кнехель. Ведь действительно, он не бил хозяев гаштета по лицу, держался с достоинством, платил деньги за услугу. В состоянии ли старая содержательница пивного бара оценить коричневых фюреров по их подлинной стоимости! А то, что они били и даже убивали других, так это происходило не в гаштетте, а где-то за лесом, на Берлинер ринге, далеко от дома Фельске. Никто ничего не видел и не слышал.

Между прочим, фрау Кнехель усомнилась в достоверности слухов относительно гибели унтерштурмфюрера.

– Нам не показали его, хотя Томас хотел посмотреть. Господин гауптштурмфюрер сказал: «Вы ничего не знаете о судьбе постояльца. Он ушел от вас – и точка». Притом господин Ольшер, как вы его называли, печалился не по поводу гибели Исламбека – пропал какой-то пакет. И мы боялись, как бы гауптштурмфюрер не заподозрил нас, но, слава богу, все обошлось хорошо. Томаса никто больше не тревожил... Никто.

– До конца войны?

– До самого конца, – с достоинством утвердила фрау Кнехель.

Она еще раз смахнула со щеки несуществующую слезу, старательно упрятала платок в баул, в какой-то там специальный кармашек, и громко щелкнула застежкой. Встала, давая этим понять, что высказала все.

Как она была не похожа на Оскара Грюнбаха – этого немого странника, раздумывающего о месте человека на земле, оценивающего придирчиво каждый свой шаг в прошлом. «Если бы все отказались служить коричневому богу, он был бы слабее и не совершил столько зла», – говорил он. Тогда мы отвергли эту мысль. Но ведь старый гравер все-таки прав. Если бы все немцы отказались служить! Даже эти – Фельске. И прежде всего – Фельске, которым платили сто марок за молчаливую услугу. Молчаливую: стисните губы, закройте глаза, когда рядом совершается зло... И они закрывали глаза.

Грюнбах еще добавлял с грустью: «У человека не хватает мужества, чтобы умереть по собственной воле...» Это уже далеко от Фельске, совсем далеко. Содержатель пивного бара никогда не думал о смерти. И не думает, Фельске пережил многих. Он не способен ходить, но он живет и хочет, чтобы имя его не было запятнано.

– Я могу передать Томасу ваше заверение? – спросила фрау Кнехель, протягивая нам свою пухлую руку в кружевной перчатке.

Какое заверение, едва не вырвалось у нас. Ах, да, насчет господина Фельске! Он частное лицо и никакого отношения к этой истории с унтерштурмфюрером не имел.

– Благодарю вас, – произнесла фрау Кнехель, принимая наше раздумье за положительный ответ на ее просьбу.

Осталось только раскланяться и проводить взглядом гордо шествующую через холл, мимо модных кресел и ультрасовременных столиков, распластавшихся своими глянцевыми досками у людских коленей, фрау Кнехель.

Мы получили ключи от номера и вместе с ними открытку – официальную, очень скучную по виду, но потрясающе неожиданную. Сотрудник архива сообщил, что наткнулся на документ, интересующий нас. Документ! Иначе говоря, приговор Саиду Исламбеку. Или что-то другое, связанное с ним. Впрочем, другое вряд ли окажется среди папок с бумагами особой коллегии берлинского суда. Все-таки, видимо, приговор.

Мы не поднимаемся в номер, хотя отпахнутые дверцы лифта и золотистый свет плафона в глубине манят нас, а бросаемся к телефону и звоним – еще есть время, рабочий день не окончен, – в архивное управление. Предупредительный Хорст Ремпель начертил в уголке открытки свой адрес и номер телефона.

Смертный приговор унтерштурмфюреру Саиду Исламбеку был вынесен в полдень 18 октября 1943 года, точнее, в 13 часов 40 минут, на коротком заседании особой коллегии берлинского суда. Обычная церемония не соблюдалась, вся процедура свелась к чтению протокола, составленного месяц назад секретарем суда по традиционному стандарту с учетом материалов и заключения следствия и короткой записки Курта Дитриха, адресованной прокурору. Эта записка, собственно, и определила такую странную для военного времени отсрочку рассмотрения дела государственного преступника. Дитрих просил подготовить текст решения суда, но оформить приговор лишь после его звонка. С некоторых пор политические дела не рассматривались, а лишь оформлялись. Могли, впрочем, и не оформляться, кто стал бы требовать отчета от гестапо или управления СС по поводу исчезновения того или иного подследственного, но коменданты внутренних тюрем без бумажек не могли вести учета арестованных и, следовательно, требовать от начальника караула ответа в случае пропажи подопечного. Докажи потом, что он расстрелян, – просто сбежал. А это уже халатность караульной команды, заслуживающая довольно сурового наказания. Поэтому приговоры все же писались и статьи применялись в соответствии с рекомендацией начальника отдела той инстанции управления имперской безопасности, которая вела следствие. Он решал, кто должен жить в это страшное время, а кто – умереть.

После чтения протокола, очень лаконичного и строгого по форме, секретарь особой коллегии штурмшарфюрер Гольц протянул текст приговора председателю суда штандартенфюреру Вальтеру, затем члену коллегии зондерфюреру Ландеру и представителю обвинения судебному советнику Денхардту. Первые двое поставили свои подписи не глядя, а прокурор внимательно прочел последние строки, где говорилось, что подсудимый унтерштурмфюрер Саид Исламбек, уроженец города Коканда, проживавший в Берлине, на Шонгаузэраллей, в доме номер пятьдесят семь, обвиняется в преступлении против интересов Германии и ее вооруженных сил и приговаривается к смертной казни. На мгновение Денхардт задумался, неизвестно почему вытянул губы, будто хотел спросить о чем-то секретаря, но не спросил и не торопясь вывел свою фамилию в самом низу листа, на заметном расстоянии от подписи председателя и члена коллегии. Сказал, не обращаясь ни к кому:

– Он уже расстрелян...

Секретарю показалось, что прокурор спрашивает. Несколько смущенный, даже растерянный, словно по его вине нарушен порядок, штурмшарфюрер стал оправдываться:

– Кажется, нет... Во всяком случае, ничего по телефону не говорилось... Так я понял.

И еще больше смутился. Тогда старый, обрюзглый, уставший от своей вечной боли в правом боку, штандартенфюрер Вальтер досадливо произнес:

– Исчез... во время транспортировки... Об этом господину советнику должно быть известно по официальному извещению. Между прочим, за поимку беглеца было установлено вознаграждение.

– Вот как! – несколько удивился прокурор. – Я об этом что-то не слышал... Впрочем, столько дел...

Итак, приговор вынесли спустя полгода после событий на Берлинском кольце.

Над этим следовало задуматься. Для чего Курту Дитриху, ведущему дело Саида Исламбека, понадобилась бумажка, скрепленная подписями судебных чиновников, уже ничего не значащая, никого не трогающая? Или здесь проявилась обычая педантичность немецкой бюрократии: исчез человек и его надо списать. Но Исламбек исчез не по собственной инициативе. Начиная от Фриденшталя, от формирования диверсионной группы, до прыжка на Берлинер ринге и ночного происшествия в лесу – все было продиктовано кем-то по заранее продуманному плану, и диктовал, судя по фактам, не кто иной, как Рейнгольд Ольшер. А действия Ольшера не могли остаться неизвестными штурмбаннфюреру Дитриху. Просто так не возьмешь из гестапо подследственного, не повезешь его на Берлинское кольцо. И даже не убьешь без ведома и санкции Дитриха.

Значит, Курт Дитрих все знал и, конечно, читал извещение о выдаче трех, а затем и пяти тысяч марок за опознание беглеца, если не редактировал собственноручно. И вот этот же Дитрих через полгода звонит в особую коллегия и требует оформления приговора.

Требует, но не беспокоится о получении документа: все экземпляры остались в канцелярии суда, хотя две копии должны были попасть в место заключения для исполнения приговора. Вот почему, видимо, Берг не знал о заседании особой коллегии и о вынесении приговора. Но он знал другое...

Штурмбаннфюрер Дитрих 16 октября позвонил в Главное управление СС и потребовал доктора Ольшера.

– Наши с вами отношения по известному делу, господин гауптштурмфюрер, завершились, и я не собирался вас больше беспокоить. Но одно обстоятельство вынуждает меня снова обратиться в «Тюркостштелле»...

Кто знал Ольшера 1941 и даже 1942 года, знал его тайную борьбу с Дитрихом из-за влияния на Туркестанский национальный комитет, его победы и поражения, мог бы представить себе ехидную усмешку начальника восточного отдела. Гауптштурмфюрер любил язвить и делал это не без блеска. Год назад Ольшер был недостижим ни для гестапо, ни для Восточного министерства, где сидел давний противник капитана барон Менке. Ольшер жил и действовал под крылышком самого Шелленберга. Энергичный и хорошо чувствующий пульс времени начальник «Тюркостштелле» поставлял для Туркестанского легиона и для лагерей особого назначения, подчиненных Шелленбергу, в нужном количестве живой материал. Поставки бригаденфюрер оплачивал вниманием и заботой о новоиспеченном капитане. Самый высокий взлет Ольшера выпал на начало тотальной войны, объявленной Гиммлером, когда потребность в человеческом материале утроилась.

– Нужны люди! Много людей, – требовал фюрер СС и начальник германской полиции.

Ольшер дал их Гиммлеру. Перед старательным капитаном открывалась дорога к новым, более высоким должностям, и он смело пошел бы по ней, никого не щадя и не замечая. Но роковая история с документом, похищенным прямо в управлении СС, испортила карьеру Ольшера, бросила его под ноги врагов и завистников. Гауптштурмфюрер стал пугливым и осторожным. Любой звонок пугал его, особенно после убийства унтерштурмфюрера на Берлинер ринге. Мгновенная бледность обливала сухие щеки Ольшера, и глаза под золотыми ободками очков гасли. А тут еще звонок из гестапо!

Как всякий, ждущий несчастья, он заранее готовил себя к защите от него, принимал облик обреченного. Убежденный реалист во всем, что касалось человеческих отношений, Ольшер вдруг стал верить в сердечность своих противников, ему припомнились существовавшие когда-то чувства жалости и сострадания к ближнему, зародилась надежда на чужую доброту.

Этими чувствами, вопреки логике, он наделил и Дитриха. Поэтому Ольшер откликнулся на звонок гестаповца тихим, упавшим и даже грустным голосом:

– Я слушаю вас, господин штурмбаннфюрер.

Это было ново для Дитриха. Неожиданно. Секунду озадаченный гестаповец переваривал эту неожиданность, соображал, как отнестись к перемене, произошедшей в Ольшере. Решил сохранить обычный усталый и скучный тон.

– Мой подопечный унтерштурмфюрер Исламбек просит свидания с начальником «Тюркостштелле».

Расшифровывать и уточнять Дитрих не собирался, это не входило в его планы. Он звонил Ольшере не для того, чтобы облегчить участь заключенного или содействовать лучшему проведению следствия, ему нужно было высветлить самого Ольшера, нащупать тайну, в существовании которой гестаповец не сомневался. Официально известив гауптштурмфюрера о желании Исламбека его увидеть, Дитрих приготовился слушать и анализировать. Он замер у трубки. Гестаповский ас умел читать человеческие мысли на расстоянии. Умел угадывать страх, смятение, отчаяние. Секунды, даже доли секунды, нарушавшие ритм в ту или иную сторону, мгновенно расшифровывались Дитрихом как тире-точки-тире. И он угадывал по ним состояние собеседника, составлял план действия, намечал следующий шаг.

Ольшер знал Дитриха – эту почти животную чувствительность, этот лесной слух. Поэтому тон и пауза должны были быть точными, артистически выверенными. Печаль уже излишня – разговор пойдет об Исламбеке.

– Что ему нужно? – по-прежнему устало, с едва приметной ноткой раздражения спросил капитан и зашелестел бумагами на столе, чтобы до ушей Дитриха, напряженных, как у ночного филина, дошли звуки деловой атмосферы – Ольшер работает и кроме работы его ничего, ровным счетом ничего не интересует.

Самое удивительное, что начальник «Тюркостштелле» при упоминании имени Исламбека не вздрогнул, не открыл удивленно глаза, вообще никак не отметил ни внешне, ни внутренне существование живого унтерштурмфюрера, несколько месяцев назад представшего перед Ольшером бездыханным трупом. Он сам его обыскивал, сам смотрел в остекленевшие глаза Исламбека. Не с мертвецом же, в самом деле, предлагал встретиться Дитрих.

– Не знаю, что нужно вашему бывшему подчиненному, – таясь у трубки и все еще чутко внимая звукам и паузам, произнес штурмбаннфюрер.

Наступило долгое молчание. Долгое и многозначительное, по определению Дитриха. Начальник «Тюркостштелле» решал: уже не шелестели бумаги, не стучали выдвижные и задвигаемые ящики стола. «Думай, думай, гауптштурмфюрер, – советовал издали Дитрих. – Если согласишься на встречу, значит, заинтересован в Исламбеке, намерен спасти его. Или хочешь что-то узнать от унтерштурмфюрера. Это уже любопытно, существует, видимо, тайна. Наконец, последнее – боишься арестованного и страх заставит тебя прийти в гестапо, в мой кабинет, и говорить (как говорить и о чем, мы потом узнаем) с Исламбеком... Ну, решай, думай, шеф туркестанцев! Ага, не хватает мужества...»

– Передайте арестованному, что я не вижу необходимости встречаться с ним и тем более выслушивать его заявления. Подобная просьба вообще неуместна в данном положении унтерштурмфюрера.

Дитрих забарабанил раздраженно пальцами по столу. Так звонко, что Ольшер вздрогнул.

– Хорошо, – буркнул гестаповец и положил трубку.

Его вывели из камеры внутренней тюрьмы и повели на допрос, вернее, на беседу с Ольшером. Так он считал. Да и не мог думать иначе: два дня назад Курт Дитрих принял от него требование на встречу с начальником «Тюркостштелле» и пообещал ее устроить. Он даже заверил Исламбека, что беседа состоится. Дитрих был оживлен и по-своему весел. Не по улыбке

догадался об этом унтерштурмфюрер – майор никогда не улыбался. Во всяком случае, за время их знакомства Дитрих ни разу не раздвинул губы в улыбке. Она была бы чужой на его лице. Гестаповец улыбался глазами: маленькие, темные, издали казавшиеся черными, глаза приобретали блеск, что-то озорное вспыхивало в них и начинало кружиться – именно кружиться, так чудилось Исламбеку.

Позавчера он улыбался глазами. Он был доволен. И Исламбек поверил, что встреча состоится, что она просто неизбежна.

До самой двери, соединявшей коридор с контрольным тамбуром, Исламбек шел уверенно, даже спокойно. Ему казалось, что эта дорога, знакомая до мелочей – вот выбоинка в мозаичном полу, вот обитый угол ступеньки, – эта дорога будет повторяться долго, может, очень долго, и если кончится, то лишь за порогом тюрьмы – на свободе.

Его разочаровал Дитрих.

– Доктор Ольшер не счел нужным встречаться с вами.

Майор шагал по кабинету, вымерял своими большими, тяжелыми ногами узкую полосу вдоль стены.

Дитрих мог и не сообщать этого. Едва переступив порог, Исламбек понял – встреча не состоится, в кабинете нет Ольшера. Арестованного могли вызвать лишь после прибытия капитана – ведь предстояла не очная ставка, а беседа...

Дитрих был предупредительным, это тоже исключало положительное решение вопроса. Он словно извинялся перед Исламбеком за неудачу: ему, Дитриху, нужна была встреча подследственного с капитаном, и устроить ее он не сумел.

– К сожалению, наше приятное знакомство подошло к своему логическому концу...

Штурмбаннфюрер называл заключение в камере и допросы знакомством, и притом приятным. Над этим можно было лишь посмеяться, горько, конечно. А Дитрих произнес свою заключительную фразу очень серьезно, без тени издевки. Большое угловатое лицо, сплошь испещренное морщинами, было сосредоточенно, и губы сжаты, словно майор действительно испытывал сожаление.

– Мы были друг другом довольны, господин Исламбек, – подвел он итог. – Я, во всяком случае.

Штурмбаннфюрер перестал ходить и остановился перед арестованным шагах в двух, уперся взглядом в Исламбека, острым, испытывающим. Ему хотелось увидеть отчаяние в глазах Исламбека – ведь они прощались: один оставался здесь, чтобы жить, второй уходил навсегда, в небытие. Дитрих знал, какие слова будут начертаны в приговоре. Впрочем, предполагал их и унтерштурмфюрер. Теперь предполагал.

– Вы не задумывались над вопросом, зачем я так долго держал вас здесь? – не отрывая взгляда от Исламбека, спросил Дитрих.

Исламбек догадывался, но надо ли было высказывать свои предположения и сомнения гестаповцу?

– Видимо, была надобность.

– Да, да... Была надобность.

Штурмбаннфюрер повернулся всем своим большим телом, четко, как башня на подъемном кране, и пошел к столу. Сел, издали еще раз глянул на Исламбека. Неопределенно, будто колебался, отпустить арестованного или подержать еще. Последнее пересилило, и Дитрих жестом предложил Исламбеку сесть.

Пока Исламбек нерешительно, медленно двигался к стулу справа у стены, предназначенному для допрашиваемых, гестаповец продолжил свою мысль:

– Была надобность... Вы сбили меня с толку своим упоминанием Ораниенбурга. И не только меня...

Саид намеревался опуститься на стул, на самый краешек – так он делал всегда: не совсем удобное положение помогало ему не расслабляться при допросе. Сейчас он избрал левый край, с чуть потертой желто-серой обивкой.

– Сюда! – очертил в воздухе путь к креслу у стола Дитрих. – Сюда, господин Исламбек.

Внимание следователя, не подчеркнутое, не продиктованное хитростью, кольнуло Саида. Напугало: «Мы прощаемся. Я больше не нужен ему. Даже как источник полезных сведений».

Опустить в кресло оказалось трудно. И не потому, что он отвык от мягкого плюша, от пружин и подлокотников, – он тронул ласкающей рукой глубокий ворс, и пальцы вспомнили прошлое – покой и тишину, а потому, что это было последнее. Последнее в жизни.

Он сел и посмотрел на стол. Стол был ближе всего – полированный с золотистыми прожилками в доске. И чернильный прибор: задымленная временем бронза. Какая-то фигурка с поднятым над головой цветком, будто протянутым к штурмбаннфюреру. Не к Саиду.

– Ораниенбург... – растянул мечтательно слово Дитрих. – Откуда вы взяли это название? Придумать его невозможно. Невозможно для человека...

Саид стал гладить плюш на подлокотнике, трогал его осторожно. Он думал о сказанном сейчас гестаповцем.

– Нет, я не спрашиваю вас, – предупредил желание Исламбека ответить Дитрих. – Я спрашиваю себя... Значит, все-таки это правда: вам дали задание нащупать секретный объект. Я называю его так потому, что уверен в вашем молчании. Уверен... – Дитрих уже перешагивал через Исламбека, уходил вперед. А там, впереди, в будущем, уже не было унтерштурмфюрера. Не было вовсе.

Сколько раз с ним прощались, сколько раз он сам с собой прощался! Сердце в состоянии привыкнуть к расставанию, должно, во всяком случае. А оно не привыкает. Протестует, бьется тревожно, отчаянно, объятное леденящим холодом. Исламбек пытается успокоить его: «Это не последнее прощание. Это лишь испытание. Очередная проверка. Она закончится. Не сейчас, не сегодня, и возможно, не завтра. Будет продолжаться долго... Но не без конца».

– Мы должны были расстаться с вами еще весной, – продолжал рассуждать Дитрих. Именно рассуждать. Саид не чувствовал себя участником разговора. – И не расстались лишь потому, что я не поверил вам. А мне надо было верить. Две первые недели были критическими для моей убежденности: Ораниенбург – случайное слово. Никакого задания нет, простая провокация. Но почему назван именно Ораниенбург? Почему? Я сделал все, чтобы уличить вас. И не для собственного удовлетворения, не для возмездия, – это ведь очень легко – вычеркнуть унтерштурмфюрера. Я боялся собственной ошибки: а что, если действительно вы ищете Ораниенбург? Что тогда? Я проверил вас, превратил вашу версию в реальность. Мои опасения подтвердились – вы лгали. Вы все лгали, и в отношении Ораниенбурга... И знаете, когда я убедился в этом? Не знаете, конечно... Когда убили Исламбека!

– Убили?! – вздрогнул Саид и стиснул пальцами подлокотник.

– Вас это удивляет, – не то спросил, не то утвердил штурмбаннфюрер.

– В некоторой степени... – признался Саид.

– Какой же другой исход могла иметь эта история?

Вопрос был сложный, и решить его, не зная подробностей дела, никто не мог. Исламбек лишь предполагал, что гестапо проверяет его как английского агента, но что оно прибегло к фальсификации его смерти – не догадывался.

– Могли искать настоящего Исламбека, – высказал он неуверенно пришедшую на ум мысль.

– Иначе говоря, вас?

– Да.

– Искали... – Дитрих постепенно загорался, и первая искорка уже мелькнула в глазах.

– В гестапо? – съехидничал Саид.

– Вы способны шутить, мой дорогой пленник. Исламбек находился на названном вами втором километре Берлинер ринга.

– Двойник?

– Можно назвать его и двойником.

– Хотел бы я видеть его лицо.

Мелькнуло еще несколько искорок. А потом целый хоровод заплясал в глазах майора.

– Попытаюсь доставить вам это удовольствие...

Дитрих вынул из стола фотографию и подчеркнуто театральным жестом протянул ее Исламбеку. – Как вы находите?

Маленький квадрат едва не выскользнул из грубых пальцев гестаповца, и Саид поторопился подхватить его. Секунду перед ним возникало что-то расплывчатое, потом он разглядел хмурое лицо с усиками над припухлой верхней губой и выющиеся волосы. Все незнакомое. Никогда ему не приходилось встречать подобный облик – ни дома, ни здесь.

– Не узнали?

– Нет.

– Странно, а это настоящий Исламбек.

Метель искр последний раз взметнулась в зрачках Дитриха и застыла. Майор выставил свой неожиданный козырь и ждал, чем ответит арестованный.

Саид понял гестаповца по-своему.

– Грубая подделка.

– Нет, милый мой унтерштурмфюрер. Это действительно племянник Мустафы Чокаева. По крови.

Довод таил опасность для Исламбека, он разоблачал унтерштурмфюрера. Перед ним можно было спастись. А можно было и отвергнуть его.

– Почему вы решили, господин штурмбаннфюрер, что моих друзей интересует состав крови?

Покой, напряженный, доведенный до предела, стыл в глазах Дитриха.

– Их вообще ничего не интересовало, – утвердил он.

– Зачем же они его убили?

Покой оборвался, снова заплясали искры – Дитрих торжествовал: ему удалось заманить собеседника в лабиринт с ловушкой.

– Они его не убивали... Да, да. Не захотели даже глянуть на вашего Исламбека, ибо для них он не существовал. Никогда.

Саид почувствовал себя в тупике, наткнулся на стену.

– Но вы же сказали – убит?

– Совершенно верно.

Это был порог ловушки, к которой подвел Саида гестаповец. Вход один и последний. Поэтому Саид промолчал: пусть Дитрих идет первым. И Дитрих пошел.

– Убит... туркестанцами.

Неожиданность! Ошеломляющая неожиданность! Устоять нет никакой возможности, надо или идти следом за гестаповцем или сопротивляться. Действовать, и действовать молниеносно, иначе Дитрих возведет над своим хитрым сооружением крышу и замкнет под ней Исламбека.

Оба – Саид и гестаповец – замерли. Саид вогнал ногти в плюш, словно ввинтил их до самого дерева и не чувствует боли, а штурмбаннфюрер распластал ладонь на столе – большую, как лапа медведя, пока она недвижима, но пройдет секунда, вторая, третья, и Дитрих поднимет ее, согнет пальцы и ударит средним по толстой папке, почти пустой и поэтому звонкой. Сигнал к наступлению. Еще и еще удар. Барабанный бой. Саид знает эти звуки. Они пронизывают череп, отдаются в мозгу. Мучают...

– Вы упустили Национальный комитет, господин штурмбаннфюрер, – тихо, но твердо произносит Исламбек.

– Видимо.

Пальцы все же начинают барабанный бой, но он не зовет в наступление. Удары выдают растерянность Дитриха, пожалуй, даже смущение: как это он, признанный ас, психолог, мастер четких и жестких схем раскрытия преступления, не сумел предусмотреть опасность со стороны туркестанцев. Он всегда считал их эгоистичными, способными только думать о своем благополучии, драться только за сегодняшний день, за право жить и выжить. Поэтому они без конца грызутся между собой, стараясь вырвать друг у друга кусочек пожирнее. Доносы, убийства исподтишка – что стоит одна история с Мустафой Чокаевым, – вот чем заняты люди из Туркестанского национального комитета. И то, что они грызутся, естественно и, главное, удобно для Дитриха, да и не только для Дитриха. Возня внутри отвлекает их от событий, происходящих за пределами комитета, а события эти, увы, печальны. Пусть хватают за горло своих соотечественников, пусть травят, душат, стреляют, но не оглядываются, не задумываются над происходящим. Так, собственно, и расценил Дитрих события на Берлинском кольце: убили туркестанца, всего-навсего туркестанца, и кто убил, – сами же туркестанцы. Все закономерно, все понятно. А этот унтерштурмфюрер выдвигает совсем не естественный вариант – Национальный комитет будто бы поставляет кадры для иностранной разведки. В данном случае, для английской. Значит, там есть оппозиция к немцам, к Германии. Больше того, там живы настроения и тенденции, порожденные еще Чокаевым, этим агентом разведывательной службы Великобритании. Да, унтерштурмфюрер сейчас бросил не только подозрение, но и обвинение в адрес Дитриха – под носом у гестапо гнездо шпионажа. Убить, убить наглеца!

– Однако вы пытаетесь спастись, – сдерживая гнев, произнес штурмбаннфюрер.

Исламбек с наигранной грустью ответил:

– Это невозможно теперь...

Дитрих исподлобья бросил взгляд на втиснутого в большое зеленое кресло Исламбека. Все исчезло среди плюша, кроме серого, без единой кровинки лица. Оно, обращенное к Дитриху, светилось каким-то неестественным, почти мертвым светом. Он шел от раскосых глаз. Они горели.

– Мой уход, – все так же грустно сказал Саид, – не остановит их.

– Кого? – не понял Дитрих.

– Ищущих главное...

7

Главное. Оно появилось год назад, а до этого существовало неведомо для Исламбека. Он услышал о нем от Берга в ту самую ночь, когда упал на аллее Тиргартена, подстреленный Дитрихом.

Его привезли в гестапо в обморочном состоянии – слишком много было потеряно крови. Врач более часа возился с ним, пока не восстановил его силы, ту самую «рабочую форму», которую требовал Дитрих: ведь допрос – это работа, и не только следователя, но и подследственного.

Во время перевязки около Исламбека находился Рудольф Берг. «Не спать, не спать!» – повторял он, замечая, как смежаются веки Саида. Берг боялся, что в полузабытии арестованный потеряет контроль над собой, скажет то, чего не следует говорить, чего нельзя вообще говорить. Когда врач отошел – шприц лежал в ванночке на столе, и надо было сделать пять-шесть шагов к нему, – Рудольф наклонился и тихо, но внятно произнес: «Вас интересовали специальные курсы особого назначения – Ораниенбург».

Врач не слышал этих слов, а если бы и услышал, то не зафиксировал бы, так как считал беседу оберштурмфюрера с арестованным началом следствия. Иногда к допросу приступали прямо на месте задержания или в больнице, куда попадали подстреленные Дитрихом. Берг успел еще сказать: «Ораниенбург – это самое главное... Вы слышите меня?.. Самое главное...»

Самое главное – так впечаталось в сознании. Но что главное? Какое-то расплывчатое слово, погружающееся в пустоту. Его никак не удавалось удержать. А Саид пытался это сделать, как только почувствовал бодрящий ток в теле – врач наносил удар за ударом, вгоняя в раненого адские дозы возбуждающих средств. Силы возвращались вместе с болью. Нестерпимой болью.

Почему Дитрих не убил его там, в доме президента, не прикончил сразу? Почему дал спуститься с лестницы, распахнуть двери парадного, тяжелые огромные двери, и выйти на улицу? На темную, пахнущую весной. Дал поверить в спасение, дал свернуть в парк, на аллее, под своды деревьев. Может быть, из-за этого слова, самого главного. Но тогда Саид не знал о его существовании. Ничего не знал. Он думал о спасении.

Бежать! Бежать... В ту минуту сердце требовало стремительного броска. За ним шли. Не мог Дитрих не заметить унтерштурмфюрера, выходившего из кабинета. Не могли не заметить бесчисленные наблюдатели в коридорах. Все видели, все понимали, значит, пошли следом.

И вдруг он догадался – проверяют. Его проверяют на разоблачение связного. Не существовало тогда слова, хоть и очень важного. Даже для Дитриха не существовало. Был вопрос, который с таким упорством повторял потом штурмбаннфюрер: кому несет тайну Исламбек, кто послал его в дом президента Туркестанского национального комитета? «Милый Исламбек, не для себя же, не для домашней коллекции, в койне концов, вы добывали документ, рискуя жизнью!»

А возможно, все-таки существовало одновременно и очень важное слово, независимо от того, думал о нем или не думал Дитрих.

Нет, не бежать, не торопиться, а спокойно вышагивать по парку. Любоваться погодой. А, черт! Он забыл проститься с хозяевами и гостями. Как глупо получилось: ушел, не пожав руки Ольшеру, с которым почти весь вечер разговаривал. Грубо сработано. Они, правда, тоже не лучше провели свою операцию, но нужно ли повторять чужие ошибки! Может, вернуться, кивнуть хотя бы снизу, с лестницы, Ольшеру. Небось он стоит на площадке и ждет.

– Доброй ночи, господин гауптштурмфюрер! – сказать спокойно и даже улыбнуться. Помахать рукой...

И вот когда в разгоряченной голове Саида мелькнула эта шальная мысль, сзади раздался выстрел. Неожиданный теперь. И не нужный.

Бежать! Опять то же желание. Кинуться в темноту, исчезнуть. Запетлять между деревьями, защитить себя стволами. Он понял, что его убивают. Убивает Дитрих. Когда-то Берг сказал: «Штурмбаннфюрер никого не берет живым. Живые ему не нужны!»

Лучше остановиться. На песчаной дорожке, на виду. Ночь такая светлая, он будет хорошо виден даже издали. Остановиться и дать понять, что отдает себя добровольно: «Не стреляйте!»

Вторая пуля взвизгнула где-то рядом. Нет, Дитрих все равно убьет его. Живые не нужны – ясный до жути вывод.

Все-таки лучше бежать. Какое-то действие, борьба за жизнь... И парк впереди темный, манящий, обещающий спасение. Еще минуту или даже час можно жить, дышать...

Но он не побежал. Он не успел броситься за деревья.

Ораниенбург! Самое главное... Почему самое главное и для кого самое главное? Для Исламбека оно ничего не значит, это слово. Просто слово, как тысячи других. Может быть, для Берга – он назвал его в ту ночь и объяснил, что надо запомнить.

Первые секунды после укола в глаза подследственного стоял туман. Они поблекли и, кажется, застекленели. Но только первые секунды. Затем взгляд стал постепенно яснеть и уловила мысль – живая мысль. Ее подстерегал Дитрих, подстерегал, как ловчий, и тотчас накинул силки.

– Куда вы шли?

Для Саида голос штурмбаннфюрера прозвучал тихо, откуда-то из глубины выплыл неясным звуком, едва коснулся слуха и померк. Осталось лишь короткое: «Куда?»

Нелепый вопрос. Ненужный. Есть что-то главное, самое главное, сказанное Бергом. Почему не спрашивает об этом главном Дитрих? Пусть потребует, и Саид, возможно, вспомнит. Заставит себя вспомнить.

Стук пальцев по столу. Их тоже слышит Саид: четкие, глухие удары.

– Куда?

В четыре часа прозвучал этот вопрос. И уже не смолкал больше в течение многих дней. Ответ был дан тогда же, в первую ночь, тяжелую и невероятно долгую. Длилась она долго не только потому, что время, предназначенное для ранней весны, растягивало эту половину суток, но и потому, что задрапированные наглухо окна не впускали уже родившееся утро в дитриховский кабинет – здесь была ночь, всегда ночь.

– Я шел домой... на Шонгаузераллей...

– Сегодня шли на Шонгаузераллей... Могу поверить. И даже верю, – наблюдая со стороны за борьбой Саида с забвением, произнес спокойно Дитрих. Врач Фиттингоф стоял тут же, готовый в любую минуту прийти на помощь раненому с новой дозой возбуждающих средств. – А завтра? Куда вы пошли бы завтра? Впрочем, завтра было бы поздно. И вы догадываетесь, почему.

Этого не знал Саид. В документе, который оказался у него, стояла, видимо, какая-то дата, определенная, имеющая значение, но он не знал, не мог знать ее: ведь пакет попал ему в руки запечатанным, и таким же запечатанным его отобрали при аресте.

– Нет, не догадываюсь.

Ответ устраивал Дитриха, Затеяв всю эту провокацию с похищением бумаг из сейфа, он побаивался предупреждающего шага противника: а что, если копия была снята до того, как Надие Аминова сожгла документ, если все это лишь маскировка, попытка ввести в заблуждение гестапо? Исламбек не знает даты, следовательно, бумага не побывала еще в чужих руках. Успокаивающая деталь.

– Допустим, – согласился Дитрих. – Но пойти все же вы должны были... Так куда же?

– Никуда.

Штурмбаннфюрер не любил, когда подследственные прикидывались дурачками, – это унижало его. Он сразу же пресекал всякую попытку уйти от ответа примитивными способами.

– Вы поняли мой вопрос?!

– Конечно... И все же повторяю – мне не надо было куда идти.

Минуту назад штурмбаннфюрер намеревался грохнуть кулаком по столу – удар мог бы отлично подействовать на арестованного. Всегда действовал отлично. Но на этот раз Дитрих не опустил руку, вообще не сдвинул ее с места. Ему не нужны были угрозы. Он сделал открытие. И настолько интересное, что заторопился объявить его.

– Вы не должны были куда ходить. Даже больше, вам незачем ходить.

– Незачем... – подтвердил Исламбек и откинулся на спинку стула. Бодрящая волна схлынула, и он снова почувствовал дурманящую слабость.

– Фиттингоф! – крикнул Дитрих. Испуганно крикнул, словно боялся, что врач не успеет удержать жизнь в теле арестованного. Крик выдал нервозность Дитриха, надобности в понукании не было – врач сам заметил предобморочное состояние Исламбека и бросился к нему со шприцем.

Это было больно чувствовать, как в усталое донельзя тело вгоняют огромную иглу с широким просторным жалом. Боль продолжалась, пока густая золотистая жидкость расходилась по жилам, пока шла внутри борьба между покоем и движением. Движением мысли, чувств. Из тишины, из бесконечности, из какой-то вязкой глубины слышится снова голос Дитриха:

– Вам не нужно куда ходить.

Он утверждает и одновременно спрашивает. Низкий, жесткий, такой же неприятный, как уколы шприца, голос штурмбаннфюрера. От него больно – все, что тревожит, наносит боль, – поэтому Исламбек собирает силы, те самые силы, которые дал ему Фиттингоф, и отвечает, стараясь избавиться от нависшего над ним звука:

– Меня найдут.

Только короткое мгновение стояла облегчающая тишина, и снова боль.

– Кто?

Скорее избавиться от Дитриха:

– Не знаю.

Гестаповец верит. Как ни странно, верит, даже пытается помочь Саиду узнать неведомое.

– Прежде кто находил вас?

Саид называет всех, и в то же время – никого. Дитриху не нужны ни Вали Каюмханы, ни Баймирзы Хаиты, ни Людерзены, ни Мустафы Чокаевы. Дитрих выслушивает весь этот перечень фамилий и должностей с гримасой раздражения. Ему нужны настоящие сообщники Исламбека. И когда Саид наконец вспоминает Надие Аминову – секретаря и переводчицу гауптманна Ольшера, гестаповец перестает кривить губы, и настораживается. У нее, у переводчицы, Дитрих обнаружил при обыске документ, правда, почти сгоревший, но сыгравший главную роль во всей этой истории. От переводчицы потянулась цепочка к другим лицам. Потянулась и сразу же оборвалась. Оборвалась на Азизе Рахмане – теперь тоже мертвец. Упоминание имени переводчицы восстанавливало цепочку. Дитрих ухватился за Надие. И пришлось отдать ее этому жадному, грубому гестаповцу. Отдать единственное близкое существо, пожертвовавшее собой ради Исламбека. Это было тяжело делать. Саид испугался, едва только возникла необходимость жертвы. Не живую, пусть не живую, но согревавшую его здесь все эти месяцы заключения, ввести в камеру пыток Дитриха. Да, он будет терзать ее имя, память о ней, мучить Надие оскорбляющими намеками, словами, своим любопытством полицейского и циничностью следователя. Он будет беспощаден ко всему, что дорого Саиду. И ничто не способно предотвратить этих пыток, если даже сам Дитрих проявит осторожность и мягкость, – такова закономерность следствия.

Сердце Саида заглохло, когда гестаповец повторил имя Надие. Повторил бережно, словно боялся ошибиться. И в то же время принял тайну с алчностью изголодавшегося зверя. Вцепился в нее и ждал, когда наконец Саид выпустит ее.

Саид простился с Надие. Чувством покаялся перед ней в совершенном: другого выхода не было. На той дороге к главному стояла она.

А дорога оказалась тернистой. Не только Дитрих, – он, Саид, терзал Надие. Называл то, что она никогда не делала, чего не могла делать – ведь она была всего-навсего переводчицей, маленьким винтиком в этой эсэсовской машине, тихой милой фрейлен. Перед Дитрихом она предстала как доверенное лицо бывшего руководителя эмигрантского правительства Туркестана Мустафы Чокаева, как агент английской секретной службы. К ней Чокаев направил Исламбека, от нее он получал задания и, в частности, последнее. Они разделили операцию на два параллельных хода. Если Надие не удастся добыть документ, задачу осуществит Исламбек. Она предполагала трагический исход дела и за день до того печального случая передала по телефону координаты связи Саиду. Вот они: «Второй километр у поворота на Потсдам. Там найдут Исламбека. Кто? Имена не названы. Их, кажется, не знала и переводчица...»

Легенда немногословная. Пространными были подходы к ней, уточнения всех деталей «биографии» Исламбека, начиная с родного дома и кончая появлением в Берлине. Дитрих проявлял педантическое любопытство ко всему, что касалось прошлого Исламбека, возвращался то и дело назад, сверял, уточнял. Исследование «биографии» грозило затянуться надолго, если бы Саид не обронил главное. Самое главное.

Это произошло на десятый день пребывания Саида в гестапо.

– Меня интересовали специальные курсы особого назначения – Ораниенбург...

Он считал, что дальше тянуть нельзя. Дитрих слишком углублялся в детали, и они, выдуманные, способны были подвести Исламбека. Подвести внезапно, сбить с позиции, которую они с Бергом избрали при разработке плана защиты. «Ораниенбург» появился в последнюю минуту, если считать разговор с Рудольфом во время перевязки последним перед допросом. Возможно, Берг уточнил бы, как пользоваться «самым главным», но секунды, павшие на «прозрение» Саида, оказались настолько короткими, что большего сообщить нельзя было. Предстояло самому решать, когда и как выдать Дитриху козырь. Последний заряд, выпущенный Исламбеком, не имел конкретной цели. Выстрел в воздух. Что за ним последует – неизвестно.

Результаты поразили Саида.

Дитрих вдруг прервал следствие.

– Арестованного в камеру!

Все десять минут – от последнего слова Исламбека «Ораниенбург» до появления дежурного офицера, – Дитрих смотрел на Саида пристально, с каким-то пронзительным интересом. Не летели, не кружились искры в его глазах. Они стали недвижимыми. Ничего, ничего нельзя было понять в этом ледящем душу блеске, и главное – ничего угадать для себя. Так и проводил Дитрих арестованного до самой двери, не проронив ни звука. Только смотрел...

Массивные надбровные дуги, поросшие густым ветвистым кустарником почти черных волос, и выше выпуклый и высокий лоб с двумя глубокими залысинами. Этот лоб и виден, когда сверху падают обильные лучи люстры. В лучах кожа матово взблескивает – она то гладкая и спокойная, то торопливо собирающаяся в гармошку. Сетка морщин возникает мгновенно и над бровями, и на висках, и под глазами. На всем лице ткется эта сеть, не минуя щек и подбородка. Но не старческая, не дряблая, а упругая, жесткая, как кора вяза. В морщинах отражение чувств и мыслей, и только в них – остальное безмолвно: губы скованы холодом, слова раздвигают их как что-то мертвое, механическое. Если бы существовал другой способ общения с людьми, он не раскрывал рта вообще или очень редко, для того, чтобы произнести короткое: «Ну?!» Оно заменяло бы и вопрос, и приказание, и удивление, в основном – требование. Он любил слушать и только слушать.

Жили еще глаза. Всегда жили, но их надо было уметь видеть и понимать. Те, кто долго и часто рассказывали ему, постепенно овладевали азбукой и могли читать. Там светились удовольствие или огорчение, гнев или радость.

На фотографии – пытливость. Даже здесь, перед объективом, поиск загадки. Видимо, это привычное состояние.

Есть лица, которые даже на фотоотгиске вызывают чувство робости. Глаза видят вас, пронизывают взглядом, требуют. Именно требуют, и возникает невольное желание избавиться от них поскорее, перевернуть фото.

Это – Дитрих.

– Волк, которого надо брать голыми руками.

Так сказал о нем Берг. Сейчас от штурмбаннфюрера ничего не осталось, кроме фото и оценок Берга, собранных в небольшой папке. Фото лежало здесь еще тогда, когда Дитрих жил в Берлине, когда он говорил, молчал, злился, радовался. Когда арестовывал, допрашивал, убивал. Оно лежало в папке, и на обороте стояла надпись, сделанная чьей-то торопливой рукой: «Курт Дитрих». И только.

На небольшом листке бумаги приметы Дитриха.

Возраст: 45–47 лет.

Рост – выше среднего. Широкий в плечах, коренастый. Физически силен.

Лицо круглое, скуластое, неподвижное. Естественное выражение – хмурость.

Глаза средние, темно-карие. Очки не носит. Волосы прямые. Густой шатен.

Нос прямой, с утолщением внизу. Ноздри крупные, широкие.

Особые приметы: над левой бровью небольшая шишкообразная выпуклость. Постоянное движение указательным, средним и безымянным пальцами.

Волк, которого надо брать голыми руками... Почему Берг определил свое отношение к штурмбаннфюреру такой фразой?

Построив свою схему на лидерах туркестанских националистов, и прежде всего Чокаеве, Дитрих уже не мог воспринимать факты вне ее. Он невольно подводил их под удачно сформулированную систему отношений между Британской разведывательной службой и туркестанскими эмигрантами. Преувеличив роль и возможности Мустафы Чокаева, штурмбаннфюрер во всем видел «его руку». Образовался круг, из которого Дитриху уже трудно было выйти. Даже тогда, когда события противоречили схеме, он пытался объяснить их под своим углом зрения, подтасовывал факты или отбрасывал их, как случайные.

Волк кружился внутри цепи флажков, им же расставленных. Кружился, терял силы, терял представление о реальности. Его можно было брать.

Голыми руками? Не легко ли представлял себе Берг заключительный этап? Сам же характеризовал штурмбаннфюрера как опытного, дальновидного и умного следователя.

Вот несколько характеристик.

– Дьявольское хладнокровие. Давит, душит своим хладнокровием. Если ему приставят пистолет к затылку, не моргнет. Его хотел расстрелять Кальтербруннер – Дитрих с опозданием донес о готовившейся диверсии на военном заводе. Восемь дней он ходил на службу под негласным приговором. Знал о нем – и выполнял обязанности совершенно спокойно, слушал донесения, доклады, вникал, решал. Даже шутил. И допрашивал...

– Да, выдержка феноменальная. Лезет под выстрелы. Мы брали вооруженную группу. Ворон (то есть Дитрих) бросился первым. В него стреляли – бежал не пригибаясь. С ним страшно.

Дитрих вникал, анализировал, обобщал. Такой диалог состоялся между ним и Бергом:

– Главное для нас с вами – знать цель, к которой стремится противник. Тогда мы поймем, какой дорогой он пойдет. Увидим ее.

– Могут оказаться на ней и не противники.

– Это не важно. Возьмем всех. Среди них будет и он.

Именно так поступил Дитрих на Бель-Альянсштрассе, когда был убит Хендриксен. Штурмбаннфюрер не знал, кто придет на связь с ним, и взял всех, кто оказался у кладбища. В число арестованных попал и Саид Исламбек. Принцип Дитриха оправдал себя на этот раз. Другой диалог:

– Когда вы подозреваете одного, уничтожайте весь выводок. Все гнездо. Все гнезда...

– А если противник выбирает нетипичное: гнездо не нужно ему?

– Такой противник не страшен. Не думайте о нем. Сам раскроет себя – в нетипичном жить трудно. Он или умрет, или сдастся.

Сдавались редко. Возможно даже – никогда. Никто не избирал нетипичное. Если избрал, то жил в нем, вопреки убеждению Дитриха. Тот же Чокаев жил. Став английским агентом еще в 1918 году, в период существования Кокандской автономии на территории Туркестана, Мустафа Чокаев покинул родину и превратился в вечного эмигранта. Искал приюта в Турции, Польше, Германии, Франции. Объединил вокруг себя националистов-мусульман, издавал эмигрантские журналы и газеты в Мюнхене, Берлине. Жил и действовал, несмотря на то, что германская полиция знала о его связях с секретной службой Великобритании, несмотря на существование солидного досье, заведенного уже гестапо и, наконец, несмотря на резолюцию, поставленную на обложке «дела Чокаева» самим Дитрихом: «Отнесен к группе “С”». При чрезвычайных обстоятельствах применить приказ 632-Ф». И даже несмотря на последнюю приписку, сделанную в 1940 году в преддверии страшных событий для Франции: «Вторая очередь. Не позднее 48 часов!»

Это был уже приказ. А он жил – агент «Сикрет интеллидженс сервис», лидер туркестанских националистов Мустафа Чокаев. Жил в нетипичном, как называл такое состояние противника Дитрих. Жил и не сдавался.

Возможно, потому не сдавался, что не знал о приговоре гестапо. А когда узнал, то принцип Дитриха осуществился, и осуществился блестяще. Еще не истекли 48 часов с момента взятия Парижа, как к особняку на Сюр ля Мер, тихой зеленой улице Нажанта, подошла крытая машина и из нее выскочили двое эсэсовцев.

– Вы арестованы!

Неволя... Неволя, о которой иногда думал Чокаев, как о чем-то возможном, даже обязательном для политического деятеля и иностранного агента, но далеком, существующем лишь предположительно, а не реально. Сложная, полная внезапностей и огорчений жизнь эмигранта ко многому приучила его, со многими сталкивала, однако терять свободу ему не приходилось.

В те же не истекшие еще 48 часов Чокаев оказался в Париже и вместе со многими французами и не французами был водворен в центральную тюрьму. Одежда узника не шла к Чокаеву и не понравилась ему. Торопливее других предателей из числа националистов он подписал обязательство о сотрудничестве с гитлеровцами. На размышление Чокаеву дали двадцать четыре часа, а уже в полдень он попросил отвести его в кабинет представителя Главного управления СС. Кстати, этим представителем был не кто иной, как начальник «Тюркостштелле» гауптштурмфюрер Рейнгольд Ольшер.

Чокаев сдался. В нетипичном он существовать не мог. Не способен был.

Волк хорошо знал человеческие слабости, хорошо чуял след и умел вовремя настичь жертву. А когда настигал, хватка была смертельной. В сороковом году Чокаев ушел от зубов Дитриха, и не только ушел, но и уверовал в свою безопасность, решил, что под крылышком Ольшера ему уже не грозит ничего страшного. Наивность близорукого, привыкшего к житейским удачам политического дельца. Он пал в сорок втором году по тому же самому приговору гестапо, хотя осуществил его Вали Каюмхан. Агент «Сикрет интеллидженс сервис» был умерщвлен агентом «Гехейм статс полицай», то есть Дитриха. Волк знал вкус крови и хмелел, вгрызаясь в горло жертве. Чокаев явился лишь началом цепи. Через месяц пуля Дитриха

настигла Хендриксена, затем попал под машину Азиз Рахман, покончила с собой Надие Аминова. Пробил час Саида Исламбека. В него стрелял Дитрих, но рука штурмбаннфюрера на этот раз оказалась неточной. «26-й» выжил и заставил гестаповца распутывать клубок, накрученный до невероятных размеров. Собственно, это и оказалась та самая цепь флажков, внутри которой закружился Дитрих.

Исламбеку предстояло брать волка. Так решил Берг, так санкционировал Центр. И прозойти это должно было не где-то в нейтральной зоне, а в самом гестапо. Брать голыми руками. Значит, без насилия, – Дитрих должен был сдаться сам...

8

Его снова вывели из камеры – второй раз в этот день, – и снова повели на допрос, так он опять решил. Да и не мог решить иначе – разговор с Дитрихом утром не окончился. Все не окончилось, начатое давно и неизбежно идущее к своему завершению.

Об этом он думал, намереваясь пройти дверь, свернуть налево и подняться на ступеньку лестницы, но его остановил сопровождавший эсэсман. Остановил и показал направо. Это было ново и неожиданно и заставило Саида вздрогнуть. Размеренный ход событий нарушался, а нарушение мгновенно вызвало сотню тревожных вопросов: куда, зачем, почему?

Ответ был дан тут же, за дверью, за контрольным проходом. На каменной площадке двора, сдавленного высокими кирпичными стенами, стояла крытая машина для перевозки арестованных и тихо урчала. Около нее, переступая от нетерпения с ноги на ногу, ожидал Исламбека коротенький унтершарфюрер. Он глянул на арестованного неестественно пристально через свои слишком круглые очки и, закончив эту процедуру, разочарованно протянул:

– А-а?!

Словно ожидал кого-то из знакомых, но убедился, что ждал напрасно: вывели чужого для него арестованного, к тому же не немца.

Саид тоже посмотрел на унтершарфюрера с жадностью – хотел по выражению его лица, по глазам узнать, что уготовано ему, куда повезет арестантская машина. Не узнал: ничего не говорили глаза сопровождающего, ничего, способного открыть тайну предстоящего путешествия.

Унтершарфюрер расписался в бумажке, протянутой дежурным, покачал недовольно головой, вернул листок и сказал скудно:

– Битте!

День был пасмурный, и Саид не увидел неба, того неба, что жило в памяти с детства, не увидел синевы, только бегущие облака. Беспокойные, серые, как дни и ночи, проведенные в камере. Облака торопились, пролетая над квадратом, очерченным верхними этажами корпусов.

– Битте! – повторил унтершарфюрер и, выражая нетерпение, поправил на переносице свои огромные очки.

Надо было подняться в машину. Простое, естественное движение вдруг показалось Саиду символическим: он подумал о последнем шаге. Дверца отворена, и на него глядит черный провал. Там место для тех, кого увозят из внутренней тюрьмы гестапо.

Саид тянет ногу к ступеньке, с огромным усилием касается ее, но только касается, ступить не может. Тело, словно без опоры, валится куда-то, голова наполняется звоном.

Его подсаживают, эсэсман, наверное. Ругается и подсаживает. Дверца машины захлопывается, и мгновенно возникает мрак. Душный мрак, будто вместе со светом исчез и воздух. Но это лишь кажется, дышать можно, и даже виден лучик света. Тонкий и бледный, он идет от глазка в двери и упирается в зрачок Саида. Слепит его какое-то мгновение, и когда лицо передвигается – Саид осторожно опускает себя на скамейку, – лучик иссякает где-то посреди камеры, не дойдя до противоположной стенки. За ней, за этой стенкой, гудел мотор и что-то поскрипывало и повизгивало, кажется, пружина сиденья, – унтершарфюрер умащивался рядом с шофером. Дверца кабины хлопнулась, и, словно вторя ей, грохнула наружная дверь камеры, щелкнул замок.

Машина, покачиваясь на камнях двора, бурых камнях – это помнил Саид, – двинулась к воротам. Какие ворота, он не знал, не видел их никогда, и представлял себе сейчас две глухие створки, тяжелые, медленно расползающиеся в стороны, чтобы через минуту снова сдвинуться, отгородить от мира этот двор, эти кирпичные корпуса с тысячью решетчатых окон. Створки

разошлись, а вот когда, Саид не услышал, – железо должно было визжать, скрежетать на петлях, оно не визжало, не скрежетало, ничем не дало о себе знать. Машина качнулась раз, другой и тихо, плавно покатила по асфальту мостовой.

Улица!

Наверное, на ней были люди. Они шли, торопились, гонимые заботами и страхом. Шли мимо, не глядя на арестантскую машину, не думая о человеке, который в ней сидел. Саид чувствовал себя невыносимо одиноким, забытым, не существующим ни для кого. И это сознание отчужденности было особенно тяжелым.

Он не думал о смерти, хотя месяцы, проведенные в гестапо, приучили его к ощущению близкого конца. Близкого, но не неожиданного. Своим интересом к Исламбеку штурмбаннфюрер подогревал надежду, создавал уверенность, что последний день еще далек, что его можно увидеть задолго до того, как он грядет.

И грядет ли? Есть Берг, есть кто-то другой, и не один, наверное, – они составляют нить, живую, горячую, соединяющую Саида с миром. С тем миром, откуда он пришел и в который должен вернуться. Нить питала его всем, даже мечтой. И то, что Берг ходил по тому же коридору, по тем же лестницам, разговаривал, как и Саид, с Дитрихом, придавало уверенности, твердости узнику. Вера в Берга была глубокой, непогрешимой. Долгие часы, не ведая времени, он беседовал с ним мысленно. Ему чудилось, что друг слышит его, понимает и отвечает даже, только беззвучно.

Знал ли об этом Берг, этот сухой и холодный человек, одетый в черный плащ гестаповца? Человек, совершенно чуждый сентиментальности, не отличимый внешне от Дитриха и Ольшера почти ничем. Мог бы понять он эту возвышенную, по-восточному пылкую натуру, способную даже смерть принять молча? Неужели Берг не замечал радости в глазах Исламбека, когда на какое-то мгновение случай сталкивал их в сумеречных лабиринтах гестапо? Не замечал, видно, потому что мгновения были очень короткими и, брошенные двум соратникам судьбой для напоминания о жизни, быющей все еще, не давали право на излияния чувств, только на установление самого факта – стоим в строю, значит, боремся.

Им не суждено было поговорить по душам, спокойно, где-нибудь в укромном уголке, слушая и чувствуя тишину. Поговорить просто, ни о чем и в то же время обо всем, которое и в великих словах, и в самых маленьких, ничтожных, даже в улыбке или в молчании.

Не довелось... И уже не доведется. Садясь в машину, Саид это понял: Берг оставался в серых стенах гестапо, он – покидал их. Ему почудилось на мгновение, что живая нить, соединявшая его с миром, рвется. На Берге рвется, на всех неуловимых мелочах, что связано с ним.

Ему стало холодно от ощущения одиночества, впервые так ясно представшего перед ним. «Неужели он не знает, где я и куда меня везут?»

Знает!

Знает... Он твердил это, и спокойствие снова возвращалось к нему, тяжелое, пронизанное болью и сомнениями, но все же – спокойствие.

Они ехали долго. Очень долго. Машина, видимо, покинула город и бежала где-то за пределами Берлина. Саиду мерещилось поле, придавленное слезливыми облаками, ряды низких домов с высокими крышами – картина, которую он не раз видел, навещая Брайтенмаркт. Он даже предположил, что именно туда его везут.

Машина остановилась. Снова тронулась. Еще раз остановилась. Кто-то окликнул шофера и сопровождавшего офицера, потребовал пропуск. Потом последнее короткое движение и тишина – выключенный мотор, молчание конвоиров, едва уловимое повизгивание пружин под сиденьем водителя. И в этой тишине громкое, жесткое щелканье замка. Дверь отпахнулась, и Саида обдало сырым октябрьским ветром и терпким тошнотворным запахом тюрьмы. После этой первой волны он ощутил еще вторую: аромат хвои и жухлых листьев. Листья шумели где-то рядом...

Свет был настолько немогущим, что, влившись в камеру, не смог погасить темноту и лишь растворил ее, размазал по стенкам тусклыми полосами.

– Шнель!

Не мягкое и предупредительное «битте!», с которым он влез в машину, а грубое, гортанное, заставившее отшатнуться – «шнель». Знакомое по началу пути, по лагерям и этапам. Оно было хлестким: гнало, придавало силы.

Он вылез сам. Довольно уверенно. Что-то подсказало ему: здесь принимают по первому шагу – не покачнись, не оступись. Потом уже не встанешь. Не поднимут, во всяком случае.

Вылез и пошел, не глядя ни на кого, твердо, как мог. Он намеревался жить.

Не знал, что в пакете, привезенном унтершарфюрером, его именуют смертником.

Вечером ему назвали лагерь – Заксенхаузен.

Два ряда колючей проволоки, это над забором, а вдоль – через каждые сто метров вышка с пулеметом. Внутри изгороди – городок. Городок, где вместо обычных домов стояли бараки, проходы между ними заменяли улицы. По одной из таких улиц его прогнали до третьего блока и сдали дежурному.

Тот спросил:

– Почему не клеймен?

В ответ получил пренебрежительное:

– Нет надобности.

Заксенхаузен был рабочим резервом замка «Фриденталь» и входил в комплекс «Ораниенбург», об этом Саид узнал тоже вечером. Можно было поразиться странному совпадению названий – ведь самое главное, переданное Исламбеку в ту мартовскую ночь, тоже именовалось «Ораниенбург». Его отправили туда, куда он по версии должен был стремиться. Насмешка или продуманный ход?

Пусть и то и другое, лишь бы борьба.

Знакомый по Беньяминово и Легионово с обстановкой лагерей, он ничему здесь не удивлялся. Серые тени заключенных, соединенные по окрику дежурного эсэсовца в длинную, колышущуюся от немоги и усталости ленту вдоль плаца, были чем-то близки ему. И он с грустным, но привычным чувством обездоленного и обреченного присоединился к строю. Запах тлеющей от сырости и вечного удушья одежды не оттолкнул его, не заставил отвернуться, лишь усилил душевную боль. И все же ему было легче и свободнее, чем любому, находившемуся сейчас на площади – он думал о борьбе, мысленно уже начал ее. А ощущение борьбы всегда избавляет от необходимости вникать в досадные и порой мучительные мелочи, связанные с условиями существования. Брюквенная похлебка, которую следовало бы выплеснуть в морду эсэсману, следившему за раздачей пищи, настолько жидкой и мерзкой она была, не испортила настроения Саиду. Он, как и остальные, выпил ее залпом – легче проглатывать разом неприятное, чем растягивать надолго. Про себя Саид отметил, что в гестапо кормили лучше. Впрочем, это и понятно, – там старались сохранить силы, жизнь для интересов следствия. На нары Саид тоже забрался безропотно, хотя сам вид их способен был вызвать страх у всякого живого существа – вонючие, пропитанные каким-то едким дезинфекционным раствором доски и такая же душная, ветхая подстилка! «Все временно, – подавлял он мысленно возникавший внутри протест, – не надо тратить огонь. Он нужен для дела...»

Люди падали на нары и засыпали сразу. Казалось, они умирали; даже дыхания не было слышно. Саид не уснул. Долго лежал с открытыми глазами и думал. Думал все о том же: что ждет его в Заксенхаузене, какой будет борьба? Он так истосковался по действию, что сама перемена места уже будоражила нервы.

С этим ожиданием он проснулся и с ним же вышел утром на наряд. Его не хотели брать на работу – еще не оформлен и нет номера, а без номера конвой не принимал группу. Напро-

силса сам, настоял, и его повели. Сразу же через лес или парк, трудно было понять, – в замок, к трехметровой бетонной стенке, увенчанной изоляторами линии высокого напряжения и пулеметными гнездами.

Как и вчера, день был без солнца и без теней – мутно-серый. Небо низкое, почти касавшееся навесом тяжелых облаков верхушек старых вязов и елей. Наволочь скрывала линии и краски, мешала видеть, и это вызывало у Саида досаду. Все шли потупясь, он – подняв голову, жадно глядя вперед, будто хотел скорее открыть для себя и запечатлеть окованный бетонным поясом замок.

Фриденталь! Саид действительно торопился и мысленно подстегивал идущих рядом, медлительных и вялых, клял волочившего тяжелые сапоги конвоира. Злился на часового у ворот, который до тошнотворности нудно и долго пересчитывал заключенных, прежде чем выпустить на территорию.

Чего-то необыкновенного ожидал во Фридентале Саид. Именно тут находился таинственный центр службы безопасности, само упоминание которого заставило Дитриха прервать вопрос.

Вот он! Старинный парк. Седой парк. Седой потому, что была осень, и потому, что деревья замшели. Двое заключенных в выцветших, как и их лица, робах сметали листья с дорожек, сгребали в кучки, набивали мешки. Поверженный наземь наряд буков и вязов был кому-то нужен. Кого-то грел или кормил.

Слева, куда вели колонну, стояло множество каменных и деревянных барачков. Часть их возвышалась над землей, часть уходила под землю, и лишь слепые оконца под крышами глядели на человеческие ноги. В земле что-то ритмично стучало и гудело. Но не громко – звуки тонули под слоем песка и камня, и, чтобы уловить их, приходилось напрягать слух.

«Специальные курсы особого назначения! Вряд ли в этих подземельях чему-то обучали, – подумал Саид. – Здесь работают. Только работают».

Справа по всей длине парка лежали дорожки – тихие, спокойные. Над ними шумели последние, еще не облетевшие листья, и где-то далеко-далеко лаяли собаки. Овчарки. Их голос хорошо знал Саид.

Колонна шла к баракам, и пока шла, он ждал чего-то. Встала у дальнего, еще не достроенного. Ему показалось, что вот сейчас ожидаемое откроется. Начали переносить камни. Саиду дали деревянные носилки, впрягли в них сзади, он зашагал, глядя на сутулую спину какого-то поляка, лысого, с отвислыми ушами. Глядел и опять ждал чего-то. Носили весь день, и весь день он вглядывался во всех и во все – боялся упустить момент встречи. За день он узнал многое: в бараках что-то печатают, упаковывают, подсчитывают. Работают заключенные, но не те, что входят колоннами и колоннами покидают замок. Другие. Их не выпускают отсюда. И никогда не выпустят.

Может быть, после войны только...

Шепотом поляк поведал:

– Делают деньги.

– Деньги! Стоило для этого так строго охранять замок!

– Не немецкие.

– А?!

– И все здесь делают не немецкое... Даже паспорта...

Потом поляк кивнул в сторону замка:

– Те, что живут на той стороне, тоже не немцы. Во всяком случае, на них не немецкая форма. Я видел своих, поляков, и чехов. Даже англичан один раз...

Да, здесь все было не немецкое!

Поглощая жадно новости, Исламбек продолжал искать ожидаемое. Каждый, кто подходил к нему в течение дня, казался Саиду носителем тайны. Пристально, с нескрываемым инте-

ресом он следил за заключенными и этим вызывал их удивление и недоумение. К вечеру интерес несколько ослаб, но Саид все же не отказался от надежды получить от кого-то весточку.

На следующее утро волнение вновь вспыхнуло. «Если не вчера, так сегодня, – решил он. – Не для простой изоляции направил меня в Заксенхаузен Дитрих». Он все еще не знал о пакете, что привез с собой сопровождавший его унтер.

На плацу повторилась прежняя история – конвоир отказался брать его на работу. И опять пришлось уговаривать, упрашивать, чуть ли не насильно втискиваться в колонну.

Новый день был похожим на предыдущий, как две капли воды. Вошли в парк, свернули налево, к баракам, принялись таскать камни. Слушали, правда, без прежнего интереса, гул, стук и шарканье машин, доносившееся из-под земли. Разнообразием явилась воздушная тревога. Это была символическая тревога: заключенных никуда не уводили, приказали только лечь. Низко прошли самолеты. На Фриденталь не была сброшена ни одна бомба, но через двадцать минут донеслись взрывы со стороны Берлина.

– Это англичане или американцы, – авторитетно заключил поляк, с которым они сегодня опять одолевали носилки. – Русские с севера теперь не летают. У них более короткий путь...

В парк выскочили несколько офицеров. Под деревьями прослушали музыку бомб, и когда она стихла, сели в машину и умчались в город.

Вечером Саид лег на нары уже без прежней уверенности в существование ожидаемого. Едва уверенность стала гаснуть, как навалилась тоска. Мозг засверлила прежняя мысль об одиночестве и безвыходности. Он отталкивал ее от себя, грубо ругаясь и кляня все на свете. Твердил упрямо: «Есть! Есть что-то, и именно в Заксенхаузене, иначе зачем меня сюда везли. Зачем жгли бензин. – Даже такое, циничное соскальзывало с губ. – Могли прикончить в той же машине и тем же бензином!» Он знал о душегубках...

Уснул с бранью. А утром вернулось прежнее – надежда. Его уже не гнали от колонны и не требовали назвать номер: он стал своим здесь – и зашагал к замку рядом с лысым поляком. Поляк всю дорогу мучился, привязывая к башмаку ногу, именно ногу, – она была слишком тонка и мала, а деревянный башмак толст и огромен, с ним приходилось считаться.

– Может, сегодня бросят бомбу на Фриденталь, – сказал лысый с надеждой.

– Вы хотите умереть? – удивился Саид.

– Не то чтобы умереть... просто кончить все это.

Он устал жить, жить так – по сигналу и окрику. Видеть только чужое серое небо, даже тогда, когда оно было голубым и солнечным.

И он кончил. Только позже, когда вместо Саида с носилками шел уже другой заключенный. Выхватил из-за пазухи белый лоскут и стал махать им над головой, пытаясь привлечь к лагерю внимание – над Фриденталем шли самолеты. Это была наивная, почти сумасшедшая идея. Лоскута никто не увидел, кроме конвоира. И тот застрелил лысого. Тут же, на глазах у колонны.

Сегодня поляк не думал о лоскуте, его, видно, не было еще. Он думал о том, чтобы кончить все это, и подвязывал ногу к пантофелю, огромному, как корабль викингов.

Опять ничего не произошло. Ожидаемое не открылось перед Саидом, но он не впал, как накануне, в отчаяние. Откуда-то пришла мудрая успокоительная мысль о необходимости терпения, и немало. Внезапность равносильна чуду, а чудо не навещает этот мир, окаймленный непроглядной стеной и колючей проволокой.

Он приготовился ждать. Познавать этот мир и ждать...

Первым и единственным пока поводом в сложном и таинственном лабиринте познания был его напарник, тот лысый заключенный с обвислыми ушами, живое изваяние скорби и иронии. Он сказал Саиду, что здесь, в замке, – тоже смертники, пожалуй, самые настоящие. Из Заксенхаузена можно еще выйти живым, если война успеет закончиться к следующей осени и

силы не полностью угаснут в наших телах, а они, те, что в замке, умрут скоро, и умрут здоровыми, полными сил. Им смерть наречена как обязательное условие при выборе профессии.

В полдень во время обеда Саид увидел обитателей замка, вернее, той части Фриденшталя, где стояла тишина и иногда раздавался лай собак. Несколько солдат и офицеров в чешской и английской форме подошли к бараку, около которого работали заключенные, а сейчас, расположившись группами, ели. Им, этим военным, необходимо было спуститься в подземелье. За железную дверь никого сразу не пускали. Надо было ждать.

Двое военных оказались туркестанцами. Их сразу узнал Саид. Даже в чешской форме они выделялись своим смуглым цветом кожи и особым тюркским разрезом глаз. И говор был знакомым, слишком знакомым, он заставлял радоваться и мучаться одновременно. Припав к консервной банке, наполненной мутной жижей, он слушал, ловил каждое слово, звучащее рядом. Все, что говорили военные, было важно, потому что напоминало о родном. Музыка, волнующая, заставляющая сердце замирать от какого-то необъяснимого восторга, – вот что такое речь земляка. И Саид вначале не вникал в смысл слов, только упивался звуками. Он даже зажмурился на какие-то мгновения, отдавая себя радостному ощущению родного и знакомого.

О чем говорили туркестанцы? Постепенно он стал различать слова и понимать их смысл. Офицер и солдат обменивались впечатлениями о просмотренном вчера фильме. Нет, не о военном фильме. Какая-то любовная история. Саид не поверил. Он не мог представить себе, что его земляки, лишенные родины, лишенные всего светлого, дорогого, способны жить пустяками. Способны вот так спокойно говорить о каком-то фильме, даже шутить. Офицер хихикал – ему запомнилась героиня, спасавшаяся от разгневанного мужа в ночной рубашке. Он один хихикал. Солдат был хмур. Железная дверь, перед которой они стояли, пугала его, заставляла то и дело прерывать разговор и бросать тревожные взгляды на дощечку с лаконичной надписью: «Ферботен!» – «Запрещено!»

Диверсанты. Несчастные из несчастных. Их участь – вечное изгнание, даже если те, кого они предали, и те, против кого их пошлют, простят им. Они будут одинокими среди близких по крови. Конечно, когда дойдут до родных мест. Но дойдут ли – поляк назвал их смертниками.

У Саида возникло братское чувство сострадания к этим двум гибнущим людям. Ему подумалось, что у двери можно еще спасти их – словом, напоминанием, угрозой, просьбой, наконец, – а когда они войдут в нее, будет уже поздно, словно существовал какой-то рубеж, очерченный железным порогом, а за ним – бездна.

Но их не остановили – кто мог это сделать, – и они спустились по ступенькам вниз. И когда шли, тот, что был сзади, засмеялся. Жалость мгновенно погасла в сердце Саида. Злоба, обжигающая, охватывающая все существо разом, толкнула его на неожиданный для самого себя поступок. Он крикнул:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.